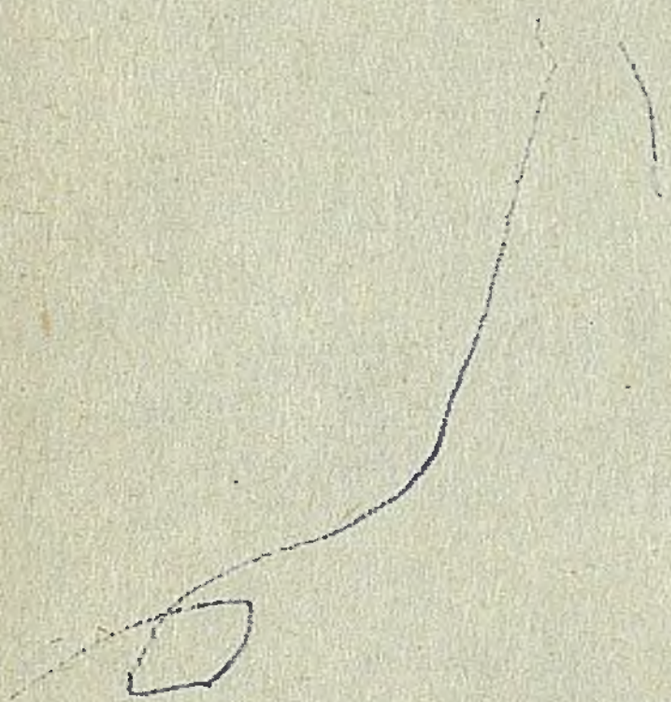
ПД
53
Б88
В. Брочде
В совет-
ской
тюрьме
М. 1923 г.



С. БРОЙДЕ

343.8(47)

ПД
53
588

В СОВЕТСКОЙ ТЮРЬМЕ.

БИБЛИОТЕКА
Инстит. Красн. Профес.
Инв. № 39478/16

517

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва **1923** **Петроград**

ПРОФШКОЛА
ИМЕНИ
БОРЩЕВСКОГО
БОЛ. САДОВАЯ, 23.

ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА РСФСР
39478/16

Главлит № 12.759. Москва. Тираж 10.000.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

В современной русской литературе нет—сколько мне помнится—ни одной книги, ни одной работы относительно современной (советской) тюрьмы. Много на эту тему можно найти в белогвардейской печати. Но все описания советской тюрьмы, которые дает эта последняя, представляют такую сплошную ложь и клевету, в которой бесполезно искать какое-нибудь зерно истины.

А между тем тюрьма играла и не могла не играть крупной роли в современной русской жизни, в эпоху той ожесточеннейшей классовой борьбы, той гражданской войны, которую переживала Россия за время революции. Десятки, сотни тысяч людей прошли через тюрьмы за годы революции.

Автор предлагаемой книги—С. Бройде—имел возможность близко познакомиться с советской тюрьмой. Он провел в ней 16 месяцев,—срок, достаточ-

ный для того, чтобы хорошо познакомиться с тюрьмой. В своей книжке он и дает описание тех тюрем, в которых ему приходилось бывать за эти 16 месяцев.

Тюремная жизнь всегда очень тяжела. В 1920-1921 годах, к которым относится пребывание Бройде в московских тюрьмах, Россия переживала еще трудное время голода, блокады, гражданской войны и войны с Польшей. Тяжела была жизнь во всей России, а в тюрьме она была, конечно, еще тяжелее. Нетрудно было для автора построить описание тюрьмы под углом зрения тех материальных лишений, которые выпадали в то время на долю заключенных. Такая картина была бы правильна, но слишком мало поучительна, слишком шаблонна. Решительно не стоит писать целую книгу, чтобы рассказать в ней только такие общеизвестные вещи, как тяжелые материальные условия тюремной жизни в стране, испытывающей голод, разоренной гражданской войной и продолжающей переживать и гражданскую и внешнюю войну.

Бройде этого вопроса в своей книге почти не касается. Он только мельком, мимоходом, местами говорит об этих тяжелых материальных условиях жизни заключенных, как о деле само собой разумеющемся

Его внимание привлекают другие стороны тюремной жизни в советской России — то, чем советская тюрьма отличается от дореволюционных тюрем, от всяких других тюрем.

Он подробно описывает ежедневную, обыденную жизнь в тюрьме, рассказывает о переписке заключенных с их близкими, находящимися на воле, о свиданиях, о передачах. И здесь перед читателем, не прошедшим через советскую тюрьму и лично не знакомым с ней, раскрывается интересная картина.

Он узнает про ту относительную свободу, благодаря которой заключенные могли свободно ходить по всей тюрьме, даже выходить из тюрьмы, устраивать в тюрьме лекции, спектакли и концерты, — свободу, допускающую общение мужчин и женщин. Читатель увидит, как в тюремной обстановке среди заключенных, конечно, очень своеобразно отражалось то революционное кипение, которое характеризовало и характеризует всю русскую жизнь.

Такой тюрьмы Россия никогда не знала. Такая тюрьма совершенно не похожа на старую, дореволюционную тюрьму.

Старая, дореволюционная тюрьма ожесточала заключенного. Она воспитывала в заключенном ненависть к тому режиму, который держит его в тюрьме. Совсем о другом рассказывает автор книги. Он пишет о том, как среди заключенных возникло и росло сочувствие к советской России, росло патриотическое чувство, росло желание победы советской России в войне с Польшей.

В начале революции Бройде был меньшевиком. Он был в то время членом Московского Совета от этой партии и участником различных, бывших в то время, совещаний. Бройде вошел в тюрьму противником революции. Тюрьма, по его словам, оторвала его от прямого участия в жизни, позволила ему со стороны, беспристрастно, не в качестве участника, а в качестве наблюдателя взглянуть на жизнь и беспристрастно ее оценить. В результате тюрьма пробудила в Бройде новые настроения, и он вышел из тюрьмы не противником революции, а ее сторонником, человеком, стремящимся слиться с народом в его революционных и творческих стремлениях, стать в ряды работников и творцов новой жизни.

Бройде не коммунист. Но и меньшевиком он быть уже перестал.

Впрочем, от меньшевиков он ушел еще до своего ареста. Тюрьма, повидимому, оказала лично автору книги такую большую услугу в деле изживания старых настроений и формирования новых, что он склонен даже идеализировать тюрьму, создавая на этот предмет какую-то своеобразную философию: тюрьма полезна потому, что она отрывает человека от заедающих его мелочей жизни, позволяет ему сосредоточиться в себе и глубже заглянуть в себя.

Согласиться с такой «философией» может, конечно, далеко не всякий.

Мы переживаем теперь в советской России пестрое время. Умирающее старое и нарождающееся новое переплетается повсюду самым причудливым образом, бок-о-бок уживаются самые вопиющие контрасты. Такое же причудливое сочетание нового и старого представляет и советская тюрьма. Тюрьма обречена на близкую гибель. В этой умирающей тюрьме в эпоху жестокой гражданской войны усилились, конечно, некоторые темные, мрачные явления. Но на-ряду с ними под влиянием живительного дыхания великой революции, в тюрьме возни-

кает много нового, интересного, никогда в тюрьме не бывалого. Изображение этой пестрой жизни современной тюрьмы и дает книжка С. Бройде.

Заметим в заключение, что автор описывает только три *московских* тюрьмы. В провинциальных тюрьмах он не был, и о них он не говорит ничего. Возможно, что другие тюрьмы сильно отличались от московских.

Вопрос о советской тюрьме, как я уже говорил, совсем не был затронут в русской литературе. Поэтому книжка С. Бройде, приподнимающая уголок завесы над частью этой картины, во всяком случае, представляет большой интерес, несмотря на то, что местами она носит сильно суб'ективный характер.

Н. Мещеряков.

В СОВЕТСКОЙ ТЮРЬМЕ

Отрывок первый:

Тюрьма, в которую меня, арестованного, привели из так называемого «корабля» Чеки, была построена много лет назад; считалась одной из лучших в России, слыла образцовой, центральной, и хранила целый ряд своеобразных традиций.

Сколько крупных революционных имен, боровшихся против царского самодержавия, жизнь за свободу свою положивших, связано было с этой тюрьмой!

Сколько поэтов ее воспели! Кто из русских революционеров не прошел через ее железные ворота и башни? Кто из них не пережил в ней тяжких дней?

Несколько слов сначала о ее «внешности».

Раскинувшись на обширной площади, молчаливая тюрьма вмещала, кроме общих корпусов, одиночные,—для мужчин и женщин,—и четыре старинных башни: Полицейскую, Пугачевскую, Часовую и Северную. В Полицейскую и Пугачевскую (в последней, некогда, по преданию, содержался Пугачев), по узкой витой лестнице надзирательницы проводили женщин, заключенных—в камеры с четырехугольными узкими окошечками.

Башни назывались—«карантинными»; в них высиживали по две недели вновь приходившие. Северная была необитаема, а в Часовой жили анархисты.

Последняя помещалась рядом с тюремной кухней, власть над которой делилась поровну между анархистами и жителями коммунистического коридора. Каждая партия тщательно оберегала свое влияние на кухне, стремясь, по крайней мере, к соблюдению равновесия. (Ведь на кухне готовилась пища для двухтысячного населения тюрьмы).

Анархисты в тюрьме были смелыми, отчаянными, дерзкими. Часть их работала в «околотке», в своеобразной, домашней больнице, помещавшейся внутри тюрьмы. Большая часть политических лечилась в нем, фактически даже не лечилась, а числилась в «лечащихся», дабы иметь возможность пользоваться усиленным пайком.

Между политическими распределялась вся власть в околотке—от командной должности заведывающего хозяйством до носильщика дров на «околоточной» кухне включительно.

Заключенные (выздоравливающие) из околотка, на прогулках, разрешавшихся два раза в день, в халатах, напоминали мирных госпитальных солдат. А красный четырехугольник тюрьмы, крепко и надолго построенный, с белою, приветливою церковью посредине, со своим чистеньким асфальтовым двором и маленьким уютным палисадником, казалось, походил скорее всего на благоустроенную больницу.

Околоток и все, что касалось его быта, давал впечатление воли, ибо тон околотка (темп жизни в нем) не был похож на тон тюрьмы.

Камеры в околотке открыты были днем и ночью, а в коридорах царил вечный, неумолкаемый гомон и оживленье.

Над кухней помещалась так называемая «прачечная», в которой находилось до ста женщин.

Это была огромная палата, в летние жаркие дни излучавшая теплю, придавленная низким потолком, который упирался в кровельную, накалявшуюся солнцем, крышу.

Самая разнообразная публика заключалась в этом небольшом пространстве. Рядом с баронессой или дочерью посла жила бывшая фрейлина; за ней иностранка, случайно застрявшая до обмена, рядом с бандиткой, наводчицей, содержательницей тайных притонов, воровкой.

Пестрая смесь, поражавшая неожиданным классовым сочетанием.

Был еще один многочисленный кадр женщин—это заключенные, «попавшие в засаду»—в большинстве случаев, возлюбленные мужчин, заключенных,—или просто спекулянтки. Среди последних числились также арестованные за предложение взятки.

Совершенно особняком протекала жизнь жителей мужского и женского одиночных корпусов, где помещались политические. Там ими была организована маленькая республика, управлявшаяся на основании неписанных законов. Никто из заключенных, не говоря

уже о чинах администрации тюрьмы, не был осведомлен об этих текучих, так часто изменяющихся правилах внутреннего распорядка «республики». Сама тюрьма полушутливо, полусерьезно именовалась — заключенными—автономной республикой, а корпуса одиночные вдобавок претендовали на абсолютную внутреннюю свободу — на положение республики в республике.

Свои завоевания они охраняли самым ревностным образом, отстаивая каждую пядь вольностей.

Свобода политических, в пределах огромной территории тюрьмы, по существу была уже вовсе не так мала, и естественно, что заключенные других категорий, наблюдая из окон своих запертых камер «свободных» узников, мечтали:

«Если бы и нам так!»

Каково было первое впечатление от тюрьмы, когда меня, робко переступавшего за ее порог, ввели во двор? Через длинный широкий проход, через железные ворота вступил я туда. Стало жутко, когда увидел четкую каменную громаду, но жуть быстро рассеялась.

Я встречен был уже в корпусе, у дверей, главным писарем (большой чин), заключенным, оказавшимся моим старым знакомым.

Мы поздоровались с ним так, как будто только накануне виделись в театре, а между тем, он сидел в тюрьме уже пять месяцев.

Мы вас ждали давно,—сказал он мне приветливо.

— Почему?—удивился я.

— С «корабля» вчера пришла партия. Нам сообщили, что вы направляетесь сюда.

Своеобразная и точная почта.

Она заслужила признание всех заключенных, ибо целый ряд опытов подтвердил аккуратность пересылки таким порядком срочных известий. В обе стороны шла информация о важнейших событиях жизни Чеки и тюрьмы. Изо дня в день шли партии в обоих направлениях.

Нас ввели в камеру. Был избран староста, начались хлопоты по устройству на новом месте.

Сперва натянули холст на чугунные рамы, приготовили себе кровати. А когда уселись, посыпались неизбежные первые вопросы: о письмах, о днях передачи. Получив раз'яснения, стали опрашивать друг друга, знакомиться, интересоваться деталями ареста и причинами, повлекшими заключение каждого из нас. Потом размещались оживленно по койкам; за часом первого нервного оживления и под'ема наступила жестокая реакция. Тоска зажимала в своих дьявольских об'ятиях.

Мысли без конца о близких, о свободе.

Я вспомнил, как через весь город в этот день шагал в тюрьму. За соседом моим по партии неловко ковыляла жена его с узелком в руках. Она вела за руку семилетнего мальчика. Мне так хотелось мучительно, чтобы и возле меня был кто-нибудь из родных.

Посмотреть бы и мне на жену или брата, перебросить бы с ними парой слов. Солдаты вначале отгоняли и пугали суровыми окриками женщину, а потом у ворот тюрьмы сменили гнев на милость и

разрешили вручить мужу узелок. В нем был хлеб, сахар, масло. Я шел рядом, потупив глаза в землю, чувствовал себя униженным, но уверенность в скором выходе из тюрьмы делала меня спокойным.

Я не знал, откуда была у меня тогда эта уверенность. Действительность посмеялась надо мной—я просидел в тюрьме еще 15 месяцев, но все же был покоен, крепко верил в скорый выход на волю.

И был в дальнейшем счастлив, что именно в таком состоянии наивной радости пришел в темницу.

Надо было сохранить запас физических и моральных сил. Всякая мелочь, дававшая возможность экономить на нервах,—была неоцененным благом.

Не оттого ли еще был я внутренне счастлив, что предчувствовал, что женщина в черном скромном платье, облегавшем ее стройную, изящную фигурку—Елена,—пройдет тем же путем, по той же дороге в ту же тюрьму, где встретится со мной.

Но пришла она на восемь месяцев позднее меня, чтобы пережить, в свою очередь, тяжесть мучительного тюремного одиночества. В тюрьме она вошла крепко в мою жизнь.

В первую свою ночь в тюрьме, сороковую ночь заключения, когда все уснули, я проверял впечатления за ушедший день. Отдыхал и радовался, что кончились переходы из одной камеры в другую, утешался тем, что всего только предстояло мне четырнадцать дней карантинного заключения. И тогда выберу себе коридор, поселюсь на новой, судьбой мне посланной, квартире, стисну свою волю в руках и буду, терпеливо

ждать развязки, когда бы она ни последовала. Надо и здесь, в тюрьме, населенность которой достигает нормы уездного городка, в две тысячи человек мужчин и женщин, работать и заполнять максимальным содержанием каждый день, ибо и здесь шумная, большая жизнь. Надо жить, бороться с настроениями, рост которых грозит превратить человека в инвалида. Ведь я господин жизни—человек! Поэтому надо бороться, проверить еще раз, какие силы заложены в характере. Надо проверить, способен ли я к сопротивлению в случаях, требующих воли, суровой выдержки и нечеловеческого терпения.

Гордость упрямо навязывала свою максиму:

«Если ты большой, то сумей показать это себе и другим в свои страдные дни, когда судьба сжала тебя в железных тисках».

Тюрьма должна была быть только экспериментом для моего устремления вверх. Если веришь в себя, не имеешь права опускать руки, хныкать и жаловаться на судьбу.

Меня даже вдохновляла серьезность задачи.

Я помнил, что жизнь идет гигантским темпом; знал, что наша революция опрокинула, смяла многое прежнее и не скоро, но твердо укрепляет новые вехи. Она развивается независимо от того, сколько подобных мне брошено в темницу.

Об этом я не переставал думать, хотя мысль эта была глубоко оскорбительна для моего сознания, ибо я считал себя не маленьким. А жизнь на воле шла дальше и без меня. И вот случилось так, что я в ка-

мере за решеткой, а своим чередом, прокладывая свои стальные законы, движется тяжелая колесница революции... Я смят,— но до этого никому, кроме узенького круга со мной кровно связанных людей, дела нет.

Смешно говорить, что тюрьма перевоспитывала всех, но можно сказать зато, что, роняя одних и возвышая других, она и тех и других своеобразно перерождала. Это истина бесспорная.

Самые стремительные в своем разбеге на воле узники начинали в тюрьме́ думать и пристально вглядываться в революцию. Эта серьезность была по своему замечательным, психологическим отражением настроений в революции современного человека из массы —обывателя.

Тюрьма в первый момент, хотя и пугала своей мрачной серьезностью, поражала затем резким несходством с тем, что ду́малось о ней. Видимо, что-то надо было пересмотреть, в чем-то надо было разобраться, что-то в голове перетряхнуть и сдвинуть.

Отрывок второй.

И, несмотря на такие свои крепкие, устойчивые и спокойные мысли, я растерялся, когда меня поместили на карантинном корпусе—в запертой камере. У меня сохранились листки, на которых набрасывал я свои лихорадочные, беспокойные мысли за день. Много позже я над своими записями смеялся—они казались мне наивными. В тюрьме я сравнительно скоро изжил угнетения и страхи перед решеткой и запертой дверью.

Вот эти «дневниковые» наброски:

Понедельник.

Вчера, в день второй заключения, к вечеру, я испытал чувство дикой, смертельной тоски. Понимал, как вот-вот могу потерять чувство равновесия душевного, начну кричать, биться головой о стенку, вопить диким голосом о пощаде, о возвращении свободы; дрожал от страха и боязни, что не остановлюсь в нервной вспышке. Тогда бросился шагать по камере. Меня душила мысль, что наглухо заперта дверь в мою клетку; давило безмолвие тюрьмы; стал себя настойчиво уговаривать успокоиться.

Напомнил самому себе, что в тюрьме отдых, что рядом со мной сидят те, кто сели в тюрьму еще два года назад; вспомнил мертвенно-блед-

ное лицо, виденное в канцелярии тюрьмы, и фразу, сказанную мне: «Ну, что такое ваш приговор! Стыдитесь вашей слабости!». Иван Владимирович, мой товарищ по несчастью, сегодня сказал: «что значит быть «на свободе»? Может быть, мы здесь духом свободнее, чем там на воле!».

Фраза эта, по существу, соответствует многим моим давним мыслям, и в ней заключается источник успокоения и примирения с одиночкой.

Стремлюсь уложить день в ряд систематических занятий. Хорошо бы спать побольше, да не удается. Вчера ночью оживился, когда сменившийся дежурный надзиратель принес газеты. Прочитав их, приблизился к внешнему миру и почерпнул для себя успокоение. Спал неплохо—сном укрепился.

Сегодня проснулся более спокойным.

Отчего? Маячит ли светлая возможность завтра побывать в городе—меня вызывают к доктору—или тяжелы исключительно первые дни в тюрьме?

Сознание, что они пережиты, — бодрит: еще одним днем стало меньше. Ведь, если (в худшем случае) придется посидеть в тюрьме 90—100 дней, то день-другой, поглощенный Летой, все-таки на одну сотую приближает к концу подневольного сидения; поддерживает уверенность, что, не сложа руки, на воле близкие пребывают в состоянии покоя; но им нужно хлопотать, чтобы добиться моего освобождения.

Только сегодня узнал о существующей легкой возможности после приговора перевестись в колонию, на

сельско-хозяйственные работы. Влечет желание быть ближе к природе. Колония в ста верстах от Москвы; если бы оторваться от давно надоевшей московской обстановки; хочется поработать физически, чувствовать себя в колонии свободным, иметь право вызвать туда жену, ребенка; видеться с ними каждый день, поселив их возле себя.

Стоят пасмурные дни.

«Солнце улыбается даже тюрьме», по В. Гюго.

Выглянуло бы оно—стало бы легче. Так длинен день и вечер.

Время извивается наподобие бесконечной ленты, одноцветной и однообразной во всех ее частях. Если б не думать, а спать без конца. Снова читаю, читаю. А по утрам спешно ищешь карандаш. Вычеркиваю еще один умерший день в календаре, нанесенном на стену.

Вторник.

Спал беспокойно. Снился отец—он является мне так редко во сне. Осталось какое-то неясное, тяжелое воспоминание. Вчера, засыпая, надеялся, что пошлют меня из тюрьмы в город, но утром надежду потерял. Заставил себя примириться с тяжким фактом. Утешался, что через одиннадцать дней, как мне обещали, удастся посещать город.

Письма уходят из тюрьмы раз в неделю; писать не хочется. Дольше старался сегодня остаться в постели—ведь день безнадежно велик.

В открытое окно, через решотку, доносится разговор двух бандитов. Я улыбнулся невольно их терминологии: «когда завалился?». Для бандита тюрьма—нечто вроде квартиры, куда привычно приходят и где спокойно устраиваются. Бодро звучат их голоса, звонок смех. У них только одна забота—о еде. Делятся друг с другом честно, но им голодно все же.

«Заваливаться» им не уставать стать. Тот из них, кто не имеет семи или восьми судимостей, не имеет права на вхождение в «преступную», тесно сплоченную семью в тюрьме.

Сегодня я полон какого-то нервного напряжения —тешил себя тем, что еще один день прошел, остался позади. Не знаю, в который раз перечитал «Крейцерову Сонату». Как гениально-просто обрисована психология ревности, какая масса исключительно художественных, много говорящих мелочей небрежно рассыпана Толстым в «Сонате», как верно сказано про влияние музыки на человека! Ощутил вдруг смысл «Сонаты» до конца. Перечитал несколько рассказов Лондона, но это уже не то. Заскучал. На прогулке встретил двух «деятелей» Советской власти —один гордый, замкнутый, оскорбленный приговором, герой громкого процесса.

— Мне предложили лазейку—освидетельствоваться у врачей на предмет моей нормальности,—говорит он,—скорее застрелился бы, чем согласился прибегнуть к такому способу избегнуть тюрьмы.

Он работает, пишет книгу по сельскому хозяйству. Другой из Наркомфина. Первый бодр, второй растерян.

Четверг.

Меня с Иваном Владимировичем перевели в другую камеру; мы не спеша вновь устроились—тоже развлеченье.

Сегодня как-то бодрее, сосредоточеннее и легче переношу заключение. День убиваю и радуюсь, что вчера осталось позади и уходит в Лету сегодня. Вчера получил записку и передачу из дома.

Третьего дня начальник снова поманил надеждой пустить завтра в город—хочу верить, хотя неудача не произведет на меня такого тяжкого впечатления, как в прошлый раз. Привыкаю к разочарованиям. Вообще, заставляю себя помнить, что невзгоды закаляют сильных, а я хочу считать себя среди них. Снова утешительная философия. И поэтому все хочу принимать спокойно. Моментами начинаю метаться, но все реже и реже. Нахожу даже какую-то прелесть в моей запертой одиночке. Не спеша читаю Марселя Прево—открыл в нем способность философствовать незамысловато, но любопытно. Потом жадно читаю газеты и после них понимаю, что смешно кипятиться. Какое значение имеет мое горе по сравнению со значительностью и темпом мирового движения? Ллойд-Джордж, Пуанкаре, Чичерин, беседы, ноты, забастовки, Индия, Моссул, Ангора—и я, вместе еще с двумя тысячами заключенных в темнице, где мечемся в тоске от

окна к дверям и обратно. Лучше замолчать и терпеливо ждать конца срока.

Но неприятно, что снова надзиратели, снова замки, обеды, прогулки, поверка, тревоги о письмах.

В конце концов—что̀ важнее в жизни? То, что происходит здесь, за решоткой, или публицистика Горького и письма Ал. Толстого, или встреча Пуанкаре с Ллойд-Джорджем? Где настоящее отражение жизни—во мне с моими переживаниями, или в журнале «Красная Новь», где авторы анализируют психологию пролетария?

На окне, вытянувшись в длину, запел заключенный —тоскливо, нудно, надрывно.

И затолпились снова в голове мысли..

На этот раз тюрьма—последний и крепкий урок. Довольно уступок всем. Довольно! Баста! Хочу и буду жить, как тянет и как надо. Довольно разбрасывания! Надо поставить точку и—слиться в одно с окружающими, жить их темпом, их стремлениями и уровнем. Конец колебаниям! Говорю это раз и навсегда.

В каком-то диком припадке бьется сейчас в одной из камер психически больной. Жутко от его бессмысленных выкриков.

Зачем он здесь? Не знаю.

На прогулке сейчас снова увидел все те же давно знакомые фигуры заключенных,—серые, опущенные; услышал все те же жалобы, старые перепевы...

Плюньте на сердце,—говорит мой сосед,—все кончается на свете—придет конец и нашему заключению.

А день тянется все дальше, без конца—мертвенно-тихий и ровный...

Пятница.

Утром проснулся с безумной тяжестью на душе—шла борьба во мне между упадком сил и искусственно вызываемой бодростью. Временами чувствую прилив уверенности и надежды, что скоро на свободу. Вчера, когда подымался по лестнице тюрьмы в свою камеру, пришла в голову странная мысль, что и в железном мешке есть своя мрачная поэзия. Да, безусловно есть. Я ее ощутил.

Вспоминаю, что шел в тюрьму с бурной мыслью протеста, потом внезапно успокоился. Утром лежал на койке, упорно стремился заснуть и не мог; встал, шагал, курил, а потом лихорадочно принялся за письма с требованиями и просьбами о хлопотах и действиях.

Счастлив, что ночью сплю.

Вчера утвердился в мысли о справедливости высшего эгоизма. Старался найти для себя положительные стороны в моем настоящем заключении.

Мой сосед сегодня успокаивает—он хорошо на меня действует, а вчера я утешал его: он в отчаянии безумно рыдал, как маленький беспомощный ребенок, не стыдясь своих слез. Мне пришлось его энергично ругать. Его горе было безгранично; он крепился всю неделю, но, видимо, нервы не выдержали. Я гладил Ивана Владимировича, старого человека, по голове, накормил его ужином, уложил спать и, улегшись сам,

стал тихонько напевать несложные мелодии. Под пение, в котором прорывалось мое волнение, Иван Владимирович уснул, как дитя, которого укачивает няня.

Утром раздражающе весело светило солнце—меня вызвали в контору и отправили под конвоем в город.

На этом записи обрываются—дальше я стал «жить».

Отрывок третий.

За стенами тюрьмы, повинуясь своим законам, шла революция.

Мы и в тюрьме чувствовали все ее величие, но здесь она рождала в нас к себе не обывательский подход, при котором обычно закрывают глаза на мощь и значение революционного процесса, а скорее вызывало какое-то невольное, почтительное к себе удивление. На воле продолжалась глухая борьба между пролетариатом и капиталом; в острых, периодических вспышках проходила гражданская война, и в связи с событиями на воле наполнялась тюрьма—временами, что называется, «до отказа», а в иные месяцы, после массовых отливов из тюрьмы на волю (это случалось в периоды затишья на внутреннем и внешних фронтах республики), пустела.

Чем упорней шла борьба рабочего класса со своими врагами за стенами тюрьмы, тем сильнее делался прилив к ее стенам людей «оттуда»—с воли. Приливы и отливы чередовались под'емами и падениями волн революции на воле. И классовый состав вновь прибывавших заключенных своеобразно отражал пути, в развитии которых шла борьба. Так, например, если устанавливалось политическое равновесие, центр тя-

жести в работе следственных органов республики переносился на борьбу со спекуляцией, представлявшей для власти такую же опасность, как и открытая контр-революция. Тогда «спекулянт»— особый специфический род преступника, как сельдь в море, густо шел в тюрьму. А всякая интервенция силами отечественных. «белых», в результате, давала кадры узников — офицеров и контр-революционных генералов, с окраин свозившихся в центральные тюрьмы.

Первые вносили в тюремную обстановку оживление—их не покидала надежда на скорое освобождение; они знали всю «несложность» своих, рожденных эпохой, преступлений.

За редкими исключениями, они, получив то или иное наказание, скоро покидали стены тюрьмы, хотя нередко снова в нее приходили; освобождаясь—уносили какое-то незлобивое отношение к Советской власти, ибо они и в тюрьме «приспосабливались».

Иное дело — вторые: они недоуменно пожимали плечами и категорически заверяли о своей лойяльности допрашивавших их следователей, а свое отношение к белым они об'ясняли случайностью. Отвратительно было наблюдать показное лицемерие, когда заранее знаешь, что лгут они, ненавидят органически Советскую власть; жажда жизни—желание вполне естественное; стремление во что бы то ни стало сберечь жизнь заставляло их лукавить и прятать свою ненависть. Было что-то неприятное в их трусливом пре-

зрении к Советской власти, в их стараниях прикинуться ее сторонниками или, по крайней мере, нейтральными.

Белые заключенные не замечали, что их приемы были примитивны; в своем стремлении доказать свою лойяльность они вызывали неприятное чувство вражды к себе в самых непредубежденных и скромных жителях тюрьмы.

Редкие одиночки среди них заявляли себя открытыми, убежденными врагами—прямота и честность говорила в их пользу. Они выходили из тюрем в концентрационные лагери, а оттуда, многие из них, впоследствии, переходя на службу Советской власти, самоотверженно для нее работали. Не они представляли из себя загадку и затруднения для следственных властей, а «лукавые»—составлявшие основное ядро контр-революционеров в тюрьме. Надо было быть не влюбленным в Советскую власть, а просто любящим свою родину человеком, чтобы резко отгородиться в тюрьме от этих врангелевцев, деникинцев, миллеровцев.

Контр-революционеры сидели в тюрьме подолгу.

Жизнь некоторых из них находилась под угрозой; поэтому положение у них было едва ли не самое тягостное рядом с другими заключенными в тюрьме. Они, в первые же дни своего прихода в тюрьму, осторожненько ощупывали соседей по камере, стремясь проверить на других степень однородности с ними антисоветских настроений. И если это им устанавливалось,—то распоясывались, возбуждая в соседях вражду к власти, стараясь разжечь в них своими небылицами

о зверствах красных в Крыму, Архангельске, ненависть к Советской власти.

Белые офицеры и генералы вдобавок за стенами тюрьмы считали себя в относительной безопасности, и эта уверенность давала им силу и энергию на продолжение своей «разрушительной» (как им казалось) пропаганды. Они считали себя вправе быть требовательными в отношении к тюремной администрации. «Раз посадили, то и заботьтесь о нас»,—гласил их лозунг, были капризны, вступали в препирательства с другими заключенными. А так как размещались обычно белые «колониёй» в коридорах и камерах, то и создавалось впечатление, что живется им, как рыбам в воде. Туговато приходилось с передачами, но и здесь выручал политический Красный Крест. Может быть, и не было особенно сытно, но зато уже по истечении одного-другого месяца в тюрьме белые, что называется, успокаивались за свою судьбу, ориентировавшись настолько, что читали лекции, давали уроки в культпросвете тюрьмы. Мало того, можно сказать, что в результате долгого пребывания в тюрьме, в несколько месяцев примерно—они теряли специфические свои особенности и приобретали право советского гражданства (правда, пока только в тюрьме).

Чрезвычайно любопытно, что спекулянты, не говоря уже о «должностных» преступниках в камерах, сторонились белых открыто, не скрывая к ним своего осуждения, избегали общества контр-революционеров...

Мне приходилось наблюдать не раз, как по адресу белых обывателями-спекулянтами бросались резкие

упреки в предательстве. Это было почти своеобразно-трогательно, и я сожалел, что эти кусочки быта проходили вне наблюдения заклятых врагов Советской власти—на воле им они дали бы возможность сделать много поучительных выводов. Как часто белые, спесиво являвшиеся в тюрьму в надежде на триумфальную встречу (спасители, пострадавшие за идею), именно за решотками ожидавшие встретить врагов республики, конфузливо сокращались, найдя в тюрьме крепких патриотов, оставшихся, как ни странно это было для них, таковыми даже в тисках Советской власти.

Совершенно изменялось обличие белых офицеров, когда следователи их вызывали на допрос. Они бывали тогда необыкновенно корректны к Сов. власти и, возвращаясь из конторы тюрьмы в коридоры, не скрывали своего удовольствия, рассказывая соседям о вежливом обращении с ними следователей.

Словно в этом было что-то особенное...

Белых после допросов сравнительно быстро освобождали или пересылали в лагери, исключая, конечно, крупных, представлявших заведомую угрозу республике. Но наступал момент, когда решалась и их судьба. Контр-революционеров партиями переводили в лагери. Они впадали всегда при этом в панику (обычно их по списку вызывали под вечер из коридора с вещами в контору), так как им всюду чудился расстрел. Испуганно лихорадили вначале, но потом успокаивались, все кончалось благополучно...

Белые оставались в концентрационных лагерях до амнистии, когда по тем или иным сокращениям и за-

четам предварительного заключения уходили на свободу...

Тюрьма кое-кого из белых офицеров выравнивала, делали их честными и прямыми в отношении Советской власти.

Таково было влияние обстановки на белых; оно было бесспорно положительным, возвращая, как я уже писал, многих из них республике верными ей солдатами.

Отрывок четвертый.

Письма с воли приносили только вести о родных и близких; на свиданиях заключенные спешили сказать о самом нужном, узко-личном, но это было ведь не все, чем жили они в тюрьме. Широко интересовались и впитывали в себя бурно разворачивающуюся на воле жизнь.

Может быть, величайшим парадоксом будет звучать утверждение, что тюрьма, освободив своих питомцев от забот житейских, сводящихся, главным образом, к добыванию рубля, являлась для них школой политической грамоты, укрепляя в заключенных политическое самосознание, расширяя горизонты их мышления. В коридорах было много диспутов, горячих споров, лекций.

Здесь сталкивались лицом к лицу коммунист-комиссар с меньшевиком-кооператором, правый эс-эр-профессор с левым эс-эром-моряком. И здесь были правые, левые крылья, центр; и здесь были страсть, ненависть, азарт в спорах, книги, газеты, журналы.

Но на воле творили, строили, разрушали, утверждали, ошибались, а здесь только наблюдали, только анализировали, окрашивая эту работу в едкую иронию или радостное солидарное сочувствие, в зависимости, конечно, от того, кто из заключенных выступал в роли

наблюдателей. Тюрьма была идеальной вышкой для последних,—здесь никто не мешал нашему наблюдению—наоборот, нас охраняли.

Период моего пребывания в тюрьме совпал с войной с Польшей, но мы не враждовали с «лежачими», мы, по-человечески, жалели поляков, застрявших в тюрьме, готовы были им всячески помочь и посочувствовать их оторванности от родины.

Но военное счастье внезапно улыбнулось Польше, и картина взаимоотношений наших с поляками резко изменилась и в тюрьме. Члены польской миссии, в качестве заложников угодившие в тюрьму, говорили демонстративно о скорой отсылке на родину.

А мы над ними ядовито подсмеивались. Мы, заключенные, страстно желали конца войны с Польшей, но наше отступление на поле брани изменило в корне настроение—захотелось борьбы до победного конца. И по мере того, как наглели поляки,—до поражения Красной армии под Варшавой сидевшие тихонями,—буквально в ярость приходили и мы. У нас с ними шла война на словах—но жестокая. Не было только крови. Но и мы, и поляки вносили в эту словесную войну напряжение своих переживаний и хотений к скорейшему освобождению.

Основное желание заключенных вообще сводилось к выходу на свободу—выше этого стремления не было ничего. Однако, несмотря на то, что тот или иной конец войны сулил, в связи с облегчением положения респуб-

лики, свободу заключенным,—последние сумели стать выше своей глубоко органической и законной мечты о воле, мечтая только о благоприятном для Советской власти исходе войны, как бы долго она ни затянулась. Все, что мешало благоприятному исходу войны, в буквальном смысле слова омрачало настроение.

Газеты ежедневно поглощались с жадностью; мы вчитывались в строчки. А после ознакомления с новостями возникали ожесточенные споры, в которых не последнее место, по страстности, принадлежало полякам.

Начавшееся отступление под Варшавой, прекращение переговоров в Минске и другие главные факты политической жизни России определяли тон жизни в тюрьме в такой же мере, как и на воле. Здесь это осложнялось еще личным моментом.

И спекулянты, и контр-революционеры в тюрьме понимали, что ухудшение положения в результате войны рабочего класса, правящего Россией, привело бы к отдалению срока их освобождения.

— Если бы вырваться...—мечтали без конца.

Стены были крепки, охрана бдительна.

Казалось странным, что обыватели, всегда чуждые другим интересам, кроме интересов дня, волновались из-за того, как ответил Ллойд-Джордж на ноту Чичерина. Дрожали от страха, когда омрачался политический горизонт, и радовались, как дети, программной речи Ленина, если в ней находили слова, возвещающие милость рабочего класса. Получалось любопытное положение, когда крепко спаивались маленькие интересы обывателя воедино с круп-

ными от революции; заклятые враги делались друзьями и на своем языке молились своему богу о благополучии революции. Не приходилось закрывать глаза на то, что патриотизм заключенных имел отчасти своей подкладкой то же узко-эгоистическое стремление к воле; но ведь эгоизм этот был законен. Так или иначе—этот эгоизм рождал чувство любви и гордости за родину вместе с страстной тягой на поля сражений, где красноармейцы, щедро поливая землю кровью, отстаивали каждую пядь территории республики.

Антисоветским настроениям наносился жестокий удар этой любовью к родине, невольно переносившейся на ее защитников—коммунистов.

Кончилась война; не была обнародована ожидавшаяся амнистия; с этим легко примирились заключенные; видимо, не это было главное.

Зато польская колония стала самоопределяться. Поляков, в числе 115 человек, перевели на отдельный коридор; они устроили там свой театр, где ставились пьесы исключительно на польском языке. В дальнейшем соорудили даже польский государственный герб в своем коридоре, ставший бельмом в глазу не только у тюремной администрации, но и у заключенных, усматривавших в поведении поляков насмешку над советской Россией, уступившей под конец победные лавры Польше.

Поляки в тюрьме ждали очереди для от'езда в Польшу и, несмотря на то, что оставалось им жить в тюрьме недолго, создали самостоятельную польскую

республику заключенных. Конечно, они хватили через край, и в один из ближайших после водружения польского орла на коридоре дней — грянуло возмущение со стороны администрации и заключенных. Республика была уничтожена, и поляки были переведены на общее положение.

Так кончилась война между Польшей и Россией в Бутырской тюрьме.

Отрывок пятый.

Любопытное бесстрашие проявляли в тюрьме анархисты. Они выносили на себе все тяготы опасной работы в изоляторе—внутреннем лазарете тюрьмы, где до перевода в Бутырскую больницу, т.-е. до выяснения характера заболевания заключенного, собирались в тяжкие дни эпидемии инфекционные больные. Всю энергию анархисты затрачивали на то, чтобы вырвать из рук смерти тяжело-больных, а сами с какой-то беззаботной, легкой весёлостью относились к возможности заразы и смерти. Но на-ряду с этим они являлись самым неуживчивым и беспокойным элементом в тюрьме, причиняя своим присутствием в Бутырках наибольшее количество хлопот и забот администрации. С партийцами они жили дружно, ибо в тюрьме стирались различия во взглядах... Наоборот, общность тюремных интересов и сплачивала всех партийных в оппозиции администрации.

Вообще, дружески об'единенной, тесной семьей проходили всякие выступления в партийных коридорах: там социалист приходился соседом анархисту, меньшевик дружески уживался с эс-эром, но каждая из группировок вела свою внутреннюю жизнь, совершенно обособленную и замкнутую. Во время собраний меньшевиков или эс-эров бесшумно удалялись из ка-

меры анархисты, и—наоборот. Такое об'единение и деликатное содружество могли иметь место только в тюрьме. Еще любопытнее было наблюдать это согласие на прогулках (между 6 и 8-ю часами вечера, до поверки). Они разрешались только больным из околотка и, разумеется, партийным. Все вместе пели частушки; своеобразный и несколько банальный характер носило это пение. Нельзя сказать, чтобы частушки были лишены юмора.

Были в них даже и моменты острого сарказма, но какое-то неприятно-смешное впечатление производила даже на заключенных, предубежденных против Советской власти, эта беззубая агитация на кучах песку в тюремном дворе.

«Кучи песку»...

Они являлись своеобразным символом крушения меньшевиков, эс-эров.

В частушках не было внутренней убедительности, оправдывавшей их ежедневное бесконечное повторение. Группы поющих вызывали улыбку—совсем не веселую, совсем не радостную, а скорее немножко небрежную в «контр-революционерах» из околотка, являвшихся постоянными слушателями вокалистов из коридоров «оппозиции».

Солидные партийцы, правда, не принимали в пении участия и снисходительно улыбались играм и проказам младших товарищей. Насмешливо глядели из окон 13-го коридора, выходившего на двор, коммунисты, демонстративно затевая пение «Интернационала». Состязание не вносило оживления.

Перед поверкой двор становился безлюдным, а потом, после нее, снова высыпали партийцы, главным образом, анархисты, которые завоевали себе право прогулок, не считаясь с законами, установленными администрацией. Гуляли также на широком и тихом церковном дворе, где, усевшись на скамейках, оставались за полночь, вызывая зависть у заключенных карантина.

Там камеры запирались уже до утра после вечерней поверки. Поэтому «карантинные» заключенные стояли у окон, выходивших на церковный двор.

Но и на карантине затевались вокальные концерты. Певцы становились на подоконник и, просунув головы через решотки, пели, как умели. Их слушал весь каменный четырехугольник, переполненный заключенными. Пению аплодировали, требовали повторения, увеличивая одобрением энтузиазм концертантов. Аудитория была бесконечно благодарна, невзыскательна и всячески поощряла своих солистов. Но и в карантине бывали настоящие вокальные праздники, совпадавшие с днями, когда случайно пригоняли из города партию, в которой оказывались солисты-певцы. Их талант тогда бесцеремонно эксплоатировался карантином на потребу и удовольствие всех корпусов. Подоконники густо усеивались людьми; тюрьма умела принимать всякое мастерство и исключительно глубоко его чувствовать. Огромной радостью, редким ощущением какой-то полезности наполняла артистов эта горячая экспансивность тюрьмы. Получалось на всю

жизнь впечатление, непохожее на все, воспринятое до тюрьмы, для тех, кто бывал виновником концерта...

Вечером шум затихал. Мелькали огни только в одиночном корпусе, у «оппозиции», где занимались чтением зачастую до рассвета... Засыпала тюрьма... В камерах беспокойным сном засыпали заключенные... Затихала жизнь, чтобы снова пробудиться по-утру. Начинался день ровный, похожий на вчерашний своим твердым распорядком и обещающий быть таким же завтра и послезавтра. Поздней ночью умолкал шум даже на Часовой башне—обиталище анархистов.

Отрывок шестой.

Тюрьма находилась далеко от центра города, и тяжесть ощущения неволи временами ослаблялась внутренней интенсивной жизнью, которая шла в камерах.

И здесь была отрыжка дореволюционного быта —культ религии. Он давал выход мистическим настроениям, накапливавшимся у заключенных, как результат вечного пребывания со своими мыслями наедине и отказа от работы над собой в тюрьме.

Процентное отношение верующих к неверующим было на коридорах чуть выше, чем на воле—разумеется, в силу специфической тюремной обстановки.

Стремление к общению с богом возникало главным образом у узников, у которых мысли о личной судьбе развивались за счет материальных запросов, отодвигавшихся этим самым на второй план. Были среди верующих типичные ханжествующие интеллигенты, старавшиеся сгруппировать вокруг себя что-то вроде церковного «братства».

Конечно, были и рассуждения на тему: «бога прогневили», а в связи с такими тенденциями покаяния —усиленное стремление молиться.

Тяжелая громада стен, тюремные сумерки, тягостно-длинные ночи, тени от сторожевых фонарей на дворах, перекликания часовых, бред и беспокойный

сон соседей по койкам вместе с зловещей тишиной создавали огромную, близкую к безумию, тоску по воле, будили желание возвращения к привычным ситуациям.

В результате, заключенные, не сумевшие овладеть собой, командовать своими настроениями, становились клиентами кучки благодетелей-церковников, крепко спаявшихся с служителями церкви; правда, эти слабые быстро разочаровывались в своей тяге к небу—ибо не это, в конечном счете, приносило облегчение. Они искали спасения от давящей подчас сознание безнадежности—лицемерили и хитрили с собой, по существу, когда уносились молитвенно к небу.

Кому молились, чего искали, отдавая себя жертвенно во власть слов, к богу обращенных?

Бог был у каждого свой и наделялся молящимся ему присущими индивидуальными особенностями.

У этого бога тщетно просили милости—облегчения от жгучих, подчас невыносимых страданий, ему трепетно и дрожа от жуткого напряжения, приносили в мольбе и плаче жалобы.

Бог молчал, как молчала ночь...

Я ночами выслушивал молитвы соседей-мистиков, закрывал уши пальцами, чтобы не слышать их обращения, полные гнева или ласки, к близким и покойникам.

Тюремным церковникам не особенно приходилось рассчитывать на таких агнцев. Любопытно было наблюдать, как пассивно держали себя в тюрьме священно-

служители и как стремились сделать их действенными, пробудив в них инициативу к богослужениям, кучка верующих мирян. . .

Молились и по официальным поводам. При наступлении еврейских праздников, одна из камер в 14-м коридоре превращалась в синагогу со всеми ее аттрибутами, возможными, разумеется, в тюремной обстановке. Надо было видеть тот азарт, то надрывное страдание, которые вносились в молитву евреями.

«Судный день» в тюрьме для религиозно-настроившихся верующих евреев превращался в просьбу к небу о пощаде. В этот «скорбный», по ритуалу, день богом «решались» судьбы человека—значит, от бога как будто бы исходят приказы в «Чеку» об ордерах на свободу. Это может показаться смешным, но как часто слышал я именно такую примитивно-построенную молитву.

В «еврейской» камере десяток-другой молящихся составлялся из малокультурных ортодоксальных евреев.

Над ними зло, открыто издевались евреи-интеллигенты; их за это бесцеремонно на время молитвы выталкивали из временной синагоги.

Молились только евреи, аккуратно на воле по субботам ходившие в синагогу.

Прост был подход к молитве; он был, можно сказать, целевым: отслужили господу-богу в положенные для него дни—и баста, до следующего праздника...

Так же, по своему, переживали и принимали свои праздники мусульмане в тюрьме; в этих случаях уважали право национальности на обычаи.

Значительное количество священников-заключенных давало возможность периодически устраивать служения в тюрьме, на коридорах.

Заутрени шли аккуратно в каждое воскресенье, а под двунадесятые праздники священники служили всенощную. Из разных коридоров стекались «верующие». Оторванность от семьи, трагическая неизвестность, переходы от надежды к отчаянию, никогда не покидавшие узников, беспокойство о судьбе близких вместе с тупой покорностью перед мрачным грядущим, перед роком—погружали в мистику как в теплую ванну слабых духом, но за этим минутным облегчением следовала тяжкая реакция.

Исступленно опускались молящиеся на колена на каменный пол и били поклоны в такт монотонным религиозным напевам.

Жители рабочих коридоров, коммунистического, башен и одиночных корпусов насмешливо наблюдали за этим искусственным религиозным под'емом других заключенных. Действительность быстро возвращала мистиков к правде суровой жизни в тюрьме. Она учила быть сильным, уходить от обольщений религии, достававшихся дорогой ценой самообмана.

Действия следователя находились в сильнейшем противоречии с желаниями бога на небе. Дурман религии увеличивал слабость, давал краткий отдых за счет нарастания бессилия и усталости.

В тюрьме не было антирелигиозной пропаганды —культпросвет не ставил себе это задачей, потому что, в конце концов, сотня заключенных, механически ак-

куратно посещавших заутрени и вечерни, не были серьезным явлением на фоне тюремной жизни,—наоборот, оно подчас служило иллюстрацией от противного—так, например, совпадение во времени спектакля с церковной службой приводило к тому, что «молящиеся» группами перебегали от церковных песнопений в коммунистический коридор, жадно следя за каждым движением на сцене.

В тюрьме не было, правда, князей церкви—служители-ее были теми же робкими заключенными, как и все другие. В них было мало пастырей, за которыми идет стадо. Чисто бессознательно они смотрели на себя, как на неких спецов от религии, выполнявших, в зависимости от воли заключенных, обрядовую сторону.

Но кое-какие выгоды из своего положения они, видимо, по старой привычке, извлекали. Прихожане, оставшиеся на свободе, не очень охотно заботились о своих арестованных пастырях,—передач им в тюрьму не посылали. Эту заботу принимали на себя в тюрьме радетели-верующие—они снабжали их едой.

Пастыри в тюрьме жили хорошей, сытой жизнью. И если бы не тревоги о судьбе—были бы совсем покойны. Маленькое, правда, но все же стадо оказалось и в тюрьме.

Отрывок седьмой.

Казалось нелепым, что только стена отделяет от настоящей жизни, которая, как огромная волна, перекатывалась через тюрьму. В тюрьму приходили подавленные тяжестью разлуки с семьями, с привычным кругом интересов. Но шли дни, ровные и быстрые в своем кажущемся бесконечном однообразии, и несли на смену этим переживаниям примиренность с обстоятельствами. Такова власть вещей, ломавшая даже неукротимых, не укладывавшихся в обычные рамки людей.

В тюрьме поневоле соприкасались с домашней экономикой. Можно сказать, что «экономика» была одним из основных моментов жизни заключенных, ревниво следивших за материальным бытом своих семей. Они, правда, не принимали участия в укреплении благополучия своих близких, скорее способствовали его разрушению. Успокаивались и утихали в своей жадности к приобретению благ.

Смущались только позднее, когда вольные «орлы», крупные советские чиновники или коммерсанты, с поникшей головой приходили в тюрьму. Мы, «старики», утешали их и ободряли.

Тюрьма воспитывала мужество в сердцах людей, на что-нибудь годных; они обретали в тюрьме мудрость и спокойствие, которых были лишены в суете на воле.

Мужественные черпали для себя утешение в том, что становились свободны от встреч на городских улицах, где живет тоска и властвует обыватель; где рассеивается мысль, бегущая мимо толпы; где растет досада и гнев на себя и на окружающих за то, что все ложь и сам в ней участвуешь, отказываясь от борьбы с ней; никто не знает на городской улице, чего он хочет, или, в лучшем случае, хочет очень маленького—а в тюрьме научался отчетливо понимать, что и великая российская революция захватывается грязными лапами толпы, не ощущающей ее величия. От этого делалось на воле так тревожно, так больно, что хотелось в диком смятении броситься на площадь и выть, бить в набат, умолять опомниться и шире раскрыть глаза на прекрасную, изо дня в день мимо нас бегущую жизнь. Но знал, что один бессилен, что не хватит мощи для того, чтобы раскачать язык того колокола, в который надо ударить. Поэтому, чтобы не задохнуться от немощной попытки, надо было найти еще какой-то десяток сильных, ярких одиночек, чтобы с ними вместе в гигантском порыве пробудить в массе волю приобщения к великому творческому началу, возвещенному революцией. Нельзя было барахтаться в болоте мелких интересов—надо было пойти нога в ногу с творцами новых ценностей—надо было во что бы то ни стало вырасти, вытянуться вверх, иначе ведь жутко, стыдно—иначе ведь получалось повторение механиче-

ских движений, за десятки лет до рождения каждого из нас уже сделанных.

В тюрьме многие властно и крепко хотели воли, чтобы, вернувшись к ней, исправить свои ошибки. Тюрьма или мудрость после тюремных дней, когда яснее увидел я оборотную сторону жизни, освободили и меня наполовину из-под страшного влияния—вещи. Только тюрьме обязан я этой радостью.

Так много хотелось об'яснять своим соседям по койке, в них перелить стремился я свое убеждение в своем раскрепощении. Подлинное облегчение [illegible] мне острая радость моей победы над [illegible] давала вых, неподвижных вещей. Если [illegible] властью мертбой своим порывом [illegible] бы я мог увлечь за собы мне дан[illegible] две тысячи заключенных, если стр[illegible] было право проповедывать им жаркое, страстное устремление к освобождению духа именно в тюрьме—в тюрьме, где не зажимали нас лапы жизни—будничной, мелкой!

Первые несколько дней в тюрьме я просыпался по утрам с тяжелым сердцем. Потом начала втягивать меня, как приводный ремень на машине, упорно и неумолимо шаг за шагом, жизнь сотен людей, шедшая рядом и имевшая свои законы. Хотелось их изменить—сделать жизнь здесь прекрасной и яркой. Я легко убеждался в том, что в тюрьме царят навыки, порядки человеческого общежития, и страдал от этого. Меня приводили в ярость мелочи—неизбежные и понятные,—сосед, расстеливший на койке чистую, белую скатерть, полученную из дому, и на ней разложивший еду и уходивший с аппетитом в поглощение пищи, был

реальным фактом, непреложным и законным—ведь есть надо было. Но почему же не хотелось мне здесь этого? Чем отличался он от подобного ему, сидящего в ресторане? В тюрьме все должно было быть необычным, простым, легким и ясным. А на самом деле было похоже на то, что заключенные, по делам службы, отправлялись в путешествие; на дорогу заботливой рукой уложены были для них вещи и еда. И только! В тюремной камере—как в зале 3-го или 2-го класса на вокзале—располагались, ожидая поезда, в котором доедут до дому.

Надо было помнить, что из колыбели прежней жизни тебя вытряхнуло во имя твоего же спасения—надо было благодарить судьбу за эту милость, вспомнить о человеке, зажить по-осмысленному, новому—открыть в себе человека—все человеческое вытянуть на свет божий.

А группа заключенных, исполнявшая процедуру вечернего чая, не была ли житейски-реальной и до жути жалкой? Можно было прийти в отчаяние, что здесь все то же. Люди в тюрьме терялись на время, но, даже в своей растерянности, не забывали о своих привычках. Даже смертники пили чай, обедали, курили, писали глупые письма на волю—и у них не было ничего от человека, смотрящего смерти строго и просто в глаза.

Жизнь привилегированной буржуазии (писарей и крупных спекулянтов) рядом с голодной беднотой, жадно пожиравшей передачи глазами,—не была ли борьбой классов в тюрьме?

Рабочий, укравший кусок мануфактуры и получавший скудную передачу—раз в месяц,—ведь не мог не ненавидеть тех, кто сытно ел рядом с ним!

«Аристократы» в тюрьме распоясывались, третировали «не своих» во-всю, вызывая глухое раздражение, гнев и ненависть к себе.

Что давало право крупным спекулянтам и контр-революционерам (белогвардейцам), державшимся кастовых привычек, так небрежно оценивать массу заключенных в тюрьме? Не то ли, что на тюремных коридорах им нечем было рисковать? Я жалел, что в тюрьме нет Иванов, командовавших некогда уголовной шпанкой. В тюрьме нашего времени умерли и бесследно исчезли традиции уголовных героев, в железных руках державших власть в тюрьме. Сейчас Иванами стремились сделаться «аристократы». Они — аристократы-Иваны—своих не забывали,—так называемые общественники контр-революционеры немедленно извлекались из карантинного корпуса, где заключенным, по правилам тюрьмы, надлежало пробыть не менее четырнадцати дней. Так же быстро выдергивались из карантина и буржуазные элементы. Таким образом налицо была яркая иллюстрация классовых подразделений; они чувствовались заключенными с первых дней их пребывания в тюрьме; они были неприятны и тяжелы.

Большинство заключенных обязано было выдержать карантин—14 дней взаперти, в камерах.

Конечно, это было непрнятно; придумывались всякого рода ухищрения, чтобы ускользнуть из карантина на общий коридор, где жилось вольнее

и где каждый заключенный устраивался уже более или менее оседло. Непривилегированное сословие симулировало заболевания и отправлялось в околоток или изолятор, а оттуда переводилось уже не в карантин обратно, а в общий коридор.

На лестнице тюремных успехов переход в околоток считался максимумом достижений для новичков, в приближении к относительным удобствам и мягкому режиму в тюрьме искавших спасения от тягот заключения. Путь от карантина до околотка был короток и не тернист для «аристократов»—и полон шипов и неожиданных препятствий для плебея. В утешение «плебею» в тюрьме существовали работы в мастерских, куда и устремлялись пролетарии - заключенные. Работали портновские, столярные, сапожные и бельевые мастерские, а также налажена была действовавшая на полном ходу прекрасно оборудованная прачечная. Туда шли как заключенные (для которых играл большую роль в питании дополнительный паек в полфунта хлеба, выдававшийся за работу), так и те тюремные жители, которые не находили лучшего способа убивать бесконечный тюремный день, тяготясь своим невольным бездельем.

Работа в мастерских проходила оживленно—администрация тюрьмы извлекала пользу от порыва к труду, являвшегося следствием специфической тюремной обстановки. На рабочем коридоре были свои традиции от «предков», прошедших через тюрьму и ей на службу отдававших свои специальные знания.

Здесь были свои большие спецы — инженеры, техники, механики, мастера столярного цеха, сапожного, портновского.

Но кроме них были и подмастерья; последние комплектовались из заключенных, проходивших курс учения уже в тюрьме, в тех же мастерских. Ничего неожиданного не было в том, что крестьянин от сохи или студент от учебника, никогда в жизни своей не державшие иголки в руках, ловко пришивали пуговицы к ими же скроенным и сшитым брюкам.

Бутырская тюрьма, действительно, могла считаться замкнутой трудовой республикой; все ее потребности, кроме продовольственных, удовлетворялись в пределах территории силами заключенных. В рабочем царстве царил хороший, мирный, спокойный тон—работа как-то примиряла с заключением, сглаживала остроту тоски по воле. Рабочие пользовались привилегиями у администрации—личными свиданиями, усиленным пайком, вечерней прогулкой.

Но трудовой элемент был в тюрьме невелик. Даже в прачечной, заваленной спешной работой и работавшей с подозрительной четкой аккуратностью, занято было всего до тридцати женщин. В кокетливых беленьких чепчиках и передничках—они напоминали голландок какой-нибудь тихой идиллической деревушки, а для тюремных лодырей, исчислявшихся сотнями (на всех работы не могло хватить), были и иные развлечения.

Например, в период, когда режим в тюрьме ухудшался, вызов в приемную к доктору являлся единственным

способом для свиданий с товарищами по несчастью. Симулирование болезней, в конце концов, создало равнодушное отношение у медицинского персонала к жалобам арестованных. Иногда проходили поэтому незамеченными серьезные заболевания.

Считалось обычным и традиционным, что докторский персонал прибегал в работе к помощи тех же заключенных, из среды которых набирались фельдшера, санитары, уборщики.

«Должности» эти считались особо льготными, давали, между прочим, право беспрепятственного хождения по тюрьме днем и ночью. Вокруг замещения этих должностей в тюрьме возникали споры, интриги, кляузы. Врачи вносили вообще значительное оживление в тюремную жизнь. Главным образом, заботы врачей сосредоточены были на коридорах 6 и 7—они были отведены для околотка. В околотке наблюдалось смешение языков: рядом с князем и графом, привлекавшимися по делу какого-нибудь центра, размещались боевые генералы, интеллигенты из «должностных», заподозренные в шпионаже, венгерские офицеры, американские инженеры, чехи, поляки, белые офицеры. Все это дышало своим настроением, варилось в собственном соку, нетерпеливо ожидая своего выхода на волю. Можно сказать, камеры в околотке походили на салон или клубный зал, где надлежало держаться «тона». Аристократы были холодно-вежливы; от них веяло безукоризненным воспитанием и нестерпимой антипатией к чужакам. Если инакомыслящие попадали в эти «высокопоставленные» камеры, их быстро и ловко, под бла-

говидным предлогом, выживали. Это не мешало, однако, полковнику генерального штаба из околотка читать на спектаклях коммунистического коридора военные обзоры нашей войны с Польшей. В том же околотке, однако, стало привычным, что товарищ министра народного просвещения (царского периода) чистил уборные и выносил ведра с сором. Он даже при этом подавал пример своим любовным стремлением к чистоте и аккуратности в исполнении возложенных на него задач.

Как проходили дни в околотке?

Днем «больные» часами оставались на своих койках, вечером чинно беседовали, гуляя на коридорах, а к полуночи все спало. Несколько фанатиков ночью неистово молились в углах камер.

Двумя этажами ниже, на коридоре, отведенном для уголовных, тон жизни был много ярче, колоритнее и своеобразнее.

Там проигрывали в карты друг другу огромные суммы и честно, молчаливо их выплачивали. Жили своей замкнутой жизнью, мало кого из посторонних посвящая в подробности своего быта. Жизнь шла полным темпом по ночам; днем отсыпались. Спайка, солидарность и удивительно благородное отношение к чужакам, случайно попавшим до отбора на уголовные коридоры, могли служить прекрасным примером «аристократии» из околотка.

Уголовные рассматривали себя как привычных жителей тюрьмы и поэтому принимали ее как неизбежный, часто в их жизни повторявшийся этап. В Бутыр-

ской тюрьме, предназначавшейся, главным образом, для политических, крупных спекулянтов и должностных взяточников, уголовные являлись случайным элементом. Поэтому они не оседали на коридорах Бутырской и даже Таганской тюрем, где размещение шло по специальностям воровской профессии. Но и в Бутырской тюрьме «гости» не желали отставать от общего благородного тона и, надо сознаться, в этом своем стремлении не выделяться резким пятном на общем фоне превзошли «аристократов» из околотка. Последним следовало бы поучиться у них настоящему товарищескому отношению друг к другу.

Этика уголовного мира еще и теперь замечательна, хотя революция внесла значительное расслоение в среду уголовных, лишив их оттенка героизма. Любопытно, что по тюремной номенклатуре—уголовными считались и советские спекулянты (все заключенные, кроме партийных). Однако современные хищники изо всех сил отгораживались от настоящих уголовных, а последние платили им добродушным презрением. Характерно, что именно из уголовного коридора оказывалась наиболее широкая помощь заключенным женщинам, среди которых большинство сидело без передач. Джентльмены «с кухни» и рыцари уголовные беспрерывно пеклись о своих питомицах—они как бы приняли над женской камерой шефство.

Вокруг женщин шла, независимо от всего, конкуренция в борьбе за успех. В тюрьме легче рождались и угасали взаимные симпатии, ибо тоска здесь беспо-

щадно сжимала сердце, а где властвует тоска, там есть и стремление оторваться от нее, уйти в фантазии и иллюзии.

Условия тюремной жизни не совсем способствовали общению мужчин с женщинами.

Администрация, что называется, блюла честь женщин и выступала часто в роли невольных гувернанток, во имя не сохранения невинности женщин, а просто следуя принципу, гласившему: «заключенные коридоров не должны между собой общаться».

Тюрьма была следственная, заключенные должны были быть друг от друга в интересах следствия изолированы.

Отрывок восьмой.

Женщины в тюрьме...

Анархистки, меньшевички, эс-эрки в тюрьме в счет не принимались—они жили совершенно обособленно, ограничивая даже круг своих передвижений территорией одиночных корпусов, двенадцатым партийным коридором, околоточным и церковным дворами. Жили они в женском одиночном корпусе, куда, в виде исключения, допускали видных контрреволюционерок (баронесс, фрейлин и других арестованных соответствующего ранга). Все наиболее культурное, следовательно, селилось особняком—а основная масса женщин-заключенных оставалась в камере над прачечной.

Не стесненные никакими требованиями элементарного порядка, они распускались: простоволосые, полуодетые целыми днями бродили по палате; легко вспыхивали ссоры, в которых с бурной силой прорывались первобытные инстинкты человека.

Оживление в жизнь женщин вносили только спектакли на коммунистическом коридоре—в аудитории они составляли наиболее темпераментную и экспан-

сивную часть «театральной публики». Они же выделяли из своей среды «актрис» для тюремной сцены.

За нравами женской части бдительно наблюдала администрация тюрьмы, но соседство кухни и Часовой башни, где жили рабочие-заключенные, делало свое.

Связи были явлением достаточно прочно пустившим свои корни.

Плакать любили много и подолгу—садились неожиданно для окружающих на койки и рыдали. Отчего? Иная оттого, что тяжко было на душе и безотчетный страх овладевал сознанием; другая оттого, что на воле выселяли семью из квартиры; третья—в беспокойном томлении за своих детей; четвертая—мучаясь за возлюбленного, прекратившего передачи.

Спали женщины плохо—просыпались ночью оттого, что огромные крысы, бегая по «прачечной», перекатывая кости от мяса, наполняли шумом палату. С расширенными от ужаса глазами, поджав под себя ноги, следили за зверками, не решаясь их спугнуть. И не засыпали до утра—вставая, бестолково схатывались, придираясь друг к другу; потом, успокоившись, валились снова на постели и спали до обеда.

Днем некоторые читали, а любительницы погадать (их было не мало, и этим болели всерьез) часами просиживали над картами, раскладывая их в тысячах комбинаций.

Конечно, были и здесь жизнерадостные хохотушки, своей стрекотней, пением и беготней нарушавшие общий тоскливый тон.

От времени до времени женщин вызывали надзирательницы на работы, связанные с отоплением женской «половины».

Кроме того, надо было шить, чинить казенное белье. В последнем случае все, притворяясь больными, всячески уклонялись от обязанностей. Скандалы возникали и тогда, когда приходилось женщинам отправляться на кухню чистить картофель, мыть полы в кладовых и камерах женской.

«Аристократки», застрявшие на прачечной, ускользали от очередей, но их изводили насмешками и проявлением открытого недоброжелательства, и им приходилось, скрепя сердце, итти вместе со всеми.

Были еще способы доводить «аристократок» до белого каления—анекдотами, площадной бранью, например.

К праздникам готовились задолго до их наступления.

На Рождестве устраивали большую елку, бережно, любовно украшали ее игрушками. Кроме того, почти у каждой была еще своя маленькая елочка, присылавшаяся из дому. Зажигались свечки—палата заливалась морем огней—но было все же холодно, пусто, неуютно, а праздники рождали боль и глухое раздражение, за которыми следовали беспричинные истерики. Сплетничали, интриговали, фантазировали о мужчинах-заключенных, мечтали о ласках вслух и дико хохотали друг над другом.

Когда из околотка приходили с лекарствами сестры, спешили передать через них письма возлюбленным—мужчинам на коридорах. Влюблялись легко—

после того, как случайно перебрасывались двумя-тремя словами с заключенными на прогулках или на спектакле. Ведь в давящей скуке—любовь была развлечением, вносившим большое оживление в быт женщин.

Общий уровень заключенных на «прачечной» был невысок—и, может быть, поэтому или по чему-либо иному палата давала ощущение какого-то притона, куда согнали перед распределением женщин. Достаточно было пробыть там несколько минут, чтобы создалось именно такое впечатление, а с ним рождалось ощущение безнадежной тоски и стыда за человеческое достоинство.

Отрывок девятый.

Библиотека в тюрьме находилась в ведении жителей мужского одиночного корпуса, где она и помещалась. Две камеры были отведены под книгохранилище, в котором, в общей сложности, было до $2^1/_2$ тысяч названий. Главным образом комплектовалась библиотека за счёт случайных книжных поступлений, проходивших через политический Красный Крест, собиравший пожертвования в фонд помощи заключенным также и литературой.

Начало библиотеки положено было много лет тому назад политическими—продолжается и развивается это дело ими же и теперь.

Поступления книг имели случайный характер. Поэтому книжный материал был крайне разнообразен. Книги имелись на немецком, французском, английском, итальянском языках—примерно, до 500 названий приходилось на эту группу.

На русском языке было до 2-х тысяч названий—но добрую половину составляли: Эмар, Майн-Рид, Жюль Верн, Жаколио, Данилевский, Шеллер-Михайлов, Мамин-Сибиряк, Немирович-Данченко и другие авторы. Имелось несколько десятков комплектов старых журналов: «Русская Мысль», «Русское Богатство», «Исто-

рический Вестник», а затем неполные—Достоевский, Толстой, Писемский, Павленковские издания, Куприн, Леонид Андреев, Золя и ряд других классиков. От Флобера, например, можно было получить одну «Мадам Бовари», а Марселя Прево в издании Антика целиком. Рядом с Реймонтовскими «Мужиками», «Историей греха» Жеромского, книжками Тетмайера и несколькими случайными томами энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона—великолепное издание Штирнера, Радищевское «Путешествие из Петербурга в Москву» и полный Шопенгауэр.

Была попытка составить каталог—с этим кое-как справились.

Новых книг, явившихся на книжном рынке в дни революции, в тюрьме не было, а между тем, требования на «Азбуку коммунизма» Бухарина посылались десятками (от меньшевиков, эс-эров, 13 коридора), как только об этой книжке стало известно в тюрьме.

Не поступала в библиотеку марксистская литература; слабо в ней вообще был представлен отдел общественных и политических наук.

Для тюремного населения, исчислявшегося более или менее постоянной цифрой в две тысячи с лишним заключенных, пищи в библиотеке было немного.

Не следует забывать, что 95% всей массы заключенных составляли грамотеи, а потребность в книжке среди них в тюрьме была на много значительнее и выше, чем на воле.

Надо было понаблюдать, с какой любовью и интересом работал в библиотеке над систематизацией и упо-

рядочением ее «штат»—заключенные. Кроме заведующего, было семь-восемь помощников.

Книги выдавались каждый день коридорным старостам, сразу получавшим по списку, составлявшемуся по требованиям заключенных в камерах, для всего коридора.

Разумеется, часть книг «зачитывалась» уголовными на цыгарки, часть уносилась второпях, в суматошливой радости уходившими на свободу, но зато такая убыль пополнялась с избытком книгами, поступавшими от заключенных, как пожертвование в библиотеку.

Книжный оборот в тюрьме не исчерпывался библиотечными книгами—раз в неделю по четвергам разрешалась родным передача с воли книг заключенным—трудно было учесть, конечно, как велико было поступление в тюрьму таких «вольных» книг. В тюрьме были сотни получавших книжные передачи, только таким путем проникали на коридоры Ленин, Троцкий, Радек, Барбюс, Бухарин, Франс, Роллан, Уэльс, Кейнс и другие крупные литературные новинки.

Читали в тюрьме на разных коридорах по разному.

На карантине—тяжком, нудном испытании для заключенных—почему-то охотно поглощали фантастическую литературу (от Эмара до Жюль-Верна), Достоевского (главным образом, «Преступление и наказание»), Толстого, Золя (серию Маккар-Ругонов), Эдгара По, Андреева («Красный смех»), Гаршина, Толстого («Смерть Ивана Ильича», «Анну Каренину», «Детство и отрочество»).

Карантину нужно было унестись в мир фантазий, здесь были новички, мучившиеся тюрьмой. Там мечтали о свободе, успокаивались и начинали привыкать к тюремной обстановке, когда переходили на общие коридоры.

Оттуда шли требования: на Брет-Гарта, Твэна, Додэ, Тургенева, Гоголя, Лермонтова, М. Прево, Амфитеатрова, Куприна, Бунина, Флобера, Катюлля Мендеса, Мамина-Сибиряка, частью на французские книжки.

Являлось желание на-ряду с легкой беллетристикой ознакомиться с классиками—прорывалась нередко тенденция одолеть иностранного автора на его родном языке. Серьезнее, но меньше (времени не оставалось свободного после работ) читали на рабочих коридорах.

Оттуда шли «заявки» даже на Брюсова, Маяковского, Блока, Андрея Белого.

По настоящему (много и ровно) читали на политических коридорах, в мужском и женском одиночных корпусах, в околотке и изоляторе.

Оттуда все время несся в библиотеку клич—«новых книг!». Эти коридоры одолевали всех философов, имевшихся на тюремных полках, жадно глотали критику, перечитывая Чернышевского, Добролюбова, Михайловского, журналы, литературу «политико-экономическую», новейшую беллетристику. Всерьез перечитывались все книжки на иностранных языках, ведь на этих коридорах—центре интеллектуальной жизни тюрьмы—преобладало стремление оправдать умственной работой пребывание в тюрьме.

Женщины (из прачечной) читали немного—наиболее культурные из них жили в женском одиночном корпусе, а оставшиеся питались, главным образом: Конан-Дойлем, Амфитеатровым, Октавом Мирбо, Прево, Монтепеном.

Успехом пользовались романы Габриеля Д'Аннунцио—вообще, шла литература о любви...

Отрывок десятый.

До тридцати коридоров было в Бутырской тюрьме. В отношении санитарии и гигиены обслуживались они медицинским персоналом, состоящим из старшего врача и шести врачей по специальностям—от венерика до зубного врача.

Кроме этих приходящих вольных врачей, приглашались на работу врачи-заключенные, если таковые в тюрьме оказывались.

В приемном покое ежедневно происходили осмотры больных, в зависимости от болезни направлявшихся в околоток или изолятор.

Нередко туда отправляли и тех из заключенных, кто долго сидел в тюрьме без передачи,—такие шли «подкармливаться».

Ведь там «больным» давалось улучшенное питание — рисовая каша, масло, сахар, обед из двух блюд—иногда курица, компот, конфеты, мед.

А на общих коридорах—знаменитая баланда, от которой туже приходилось подтягивать животы.

Голодных в тюрьме было не мало—на тюремном пайке трудно было продержаться месяц-другой без того, чтобы на-лицо не оказывались все признаки истощения организма.

Грозным становилось такое явление в полосу эпидемии, когда из тюрьмы ежедневно увозились во внешнюю больницу—рядом с тюрьмой—заболевшие сыпным тифом.

В приемном покое были медикаменты, персонал, достаточное количество фельдшеров-заключенных, вольных сестер—но околоток был по существу тюремным коридором, а маленький изолятор не мог развернуться в больницу; его пропускная способность была рассчитана на 20 человек.

Вдобавок он считался транзитным пунктом, ибо серьезных больных перевозили немедленно в изолятор, в «первую тюремную больницу». Там скоплялись сотни больных тифом—не хватало кроватей, белья, лекарств, сестер, врачей.

Изолятор в тюрьме давал полную иллюзию хорошо налаженной провинциальной больницы, особенно тогда, когда в летние дни на крылечке в халатах усаживались больные-заключенные.

А в тюремной больнице было жутко, ибо вера в свое выздоровление покидала заключенных с момента прихода в переполненные бараки.

Тиф прошел через Бутырскую тюрьму, дав десятки больных, несмотря на то, что коридоры блистали чистотой полов, стен, уборных.

На околоточном дворе принимали солнечные ванны, устраивали спортивные игры, «санаторили», а из общих коридоров и карантина уходили с сыпным тифом в смежную с тюрьмой больницу.

В периоды эпидемии особенно тщательно следили за соблюдением всех правил новичками на карантине. Полагалось, что они, кочуя из тюрьмы в тюрьму, заносили инфекцию.

Их наглухо поэтому запирали в камерах, выпуская в течение суток только три раза (по получасу) на «оправку» в коридор, по которому в карантине имели право хождения только уборщики и коридорные старосты.

В камерах ставилась на ночь параша—и этот атрибут тюремной жизни на карантине томил заключенных, мечтавших о переводе на общий коридор, как о преддверии в рай.

Чтением стремились заполнить день—томились от безделья и тоски, предаваясь самым мрачным размышлениям. Развлечением была «баланда»—мутная вода, с плававшими в ней микроскопическими кусочками мяса,—ее приносили в обед и ужин.

Но это естественно, ибо голодные годы революции тюрьма пережила тоже по-голодному.

Часто навещали карантин врачи. Заключенные забрасывали их жалобами на болезни, которых на самом деле не было, стремясь только ускользнуть от необходимых четырнадцати дней в запертой камере...

Отрывок одиннадцатый.

Основное ядро тюрьмы, вокруг которого группировалось все тюремное население (кроме карантина), составляли рабочие и политические коридоры, околоток, изолятор, мужской и женский одиночные корпуса, Часовая башня (резиденция анархистов).

Меньшевики, эс-эры жили совершенно обособленной жизнью; соприкасались только по работе на кухне с жителями коммунистического коридора анархисты.

На тринадцатом—коммунистическом—фактически помещался центр художественной и научной жизни для «непартийного» населения тюрьмы.

Одна камера была отведена для артистов, другая для лекторов (на 13 коридоре).

День на этом коридоре начинался поздно — «рабочие» уходили на кухню, в контору, в приемный покой ранним утром, а «культурники», обычно заканчивавшие поздним вечером репетиции, лекции, занятия по языкам,—«отсыпались».

Кроме лекторской и артистической, одна из камер на коридоре специально отводилась под классные занятия. В ней стояли парты с пюпитрами, огромная черная доска, кафедра, на которую торжественно взбирался «лектор»—заключенный.

Занятия происходили ежедневно, кроме праздников, по расписанию (от 2-х дня до 10-ти часов вечера), заранее установленному и утвержденному культпросветом—при чем в качестве преподавателей выступали, главным образом, «спецы».

Расписание занятий и циклы лекций, конечно, не отличались строгим постоянством.

Они находились в зависимости от состава «лекторской», откуда, как и из других камер, уходили на свободу или в другие тюрьмы. Но случай иногда заносил взамен выбывавших настоящие, крупные научные силы — наибольшее количество таких случаев падало на политические коридоры. Именно поэтому, в конце концов, у меньшевиков получалось периодами что-то вроде «тюремного университета».

В план работы входило на «коммунистическом» также изучение языков: они усваивались «учениками» сравнительно быстро; туже шла работа по математике (элементарной геометрии), политической экономии, истории литературы.

Лекции по литературе часто носили характер дискуссионных бесед.

Популярные лекции читались вечером, чтобы на них могли присутствовать «рабочие»—после обычных дневных работ в тюрьме.

Лекторы с любовью делали свое дело, увлекались своей задачей. Зато слабой была, в конечном счете, посещаемость лекций, хотя содержание их подчас бывало очень интересным. Так, например, один из крупных белых генералов, на ответственности кото-

рого была наша стратегия в течение двух лет—на одном из важнейших фронтов в период русско-германской войны,—читал историю боев за этот период.

Минусом был небольшой кадр слушавших и учившихся—это определялось тем обстоятельством, что к занятиям на 13 коридоре допускались администрацией тюрьмы, помимо основных жителей коридора, только рабочие из Часовой башни и те из заключенных, кто имел право хождения по территории тюрьмы (таких было очень немного).

«Рабочие» же из Часовой башни и коридора утомлялись за день настолько, что предпочитали сон и отдых занятиям.

Кадры слушателей у меньшевиков и эс-эров были многочисленнее—разнообразнее была и программа, ибо шире был умственный диапазон «политиков».

Но там самые лекции носили скорее гастрольный характер в противоположность 13 коридору, где они являлись частью какой-то упорной, систематической работы, смело и правильно задуманной, хотя и не всегда целесообразно осуществлявшейся. Там использовывалось все. Для небольшого круга интеллигентов на 13 коридоре читались даже лекции по высшей математике застрявшими в тюрьме генштабистами.

Лекционная система все же быстро привилась, пустив глубоко корни. Кто хотел добросовестно работать и учиться в тюрьме, мог кое-чего добиться.

Но как обидно было, что так немного было этих охотников!

Ведь у каждого шла жизнь по своему привычному фарватеру... У каждого было по горло горя и забот!

Не заниматься подчас хотелось, а отработать день, или «отчитать» его, отужинать, поспать и скостить со счета еще сутки тюремного заключения.

Тюремные будни.

Разные коридоры—разные будни.

Встают и рано, и поздно; спят много и мало; спецы пишут свои труды и мемуары; боевые генералы царской армии развивают перед слушателями заключенными стратагемы проигранных ими некогда сражений—в тюрьме для них яснее стали ошибки на войне и перед революцией...

Партийные (хозяева околотка) — они суетятся. На них лежат обязанности по околоточной (отдельной) кухне, распределению продуктов, белья, лекарств...

Много хлопот, беготни, переговоров по каждому незначительному поводу с комендантом.

Анархистки—молодые, стриженые, веселые—совершают свой обычный круг по церковному двору, косятся на них, шумливых, помощники коменданта.

Только буркнут на ходу:

— Здесь гулять не полагается!

Боятся,—скандалят! С ними не затевай конфликтов.

Беда! Не оберешься неприятностей.

Внизу, на 13-м коридоре, репетируют спектакль, а в классной комнате хор разучивает песни. Поют лихо, весело.

На околоточном дворе гуляют больные; в механической прачешной, у машин, работают женщины в передниках; в Полицейской башне обычные истерики только-что приведенных с воли женщин-заключенных.

В столярной прилаживают изготовленную мебель, а сапожники, склонясь на табурете перед верстаком, орудуя полным ассортиментом сапожных принадлежностей, чинят обувь чинам администрации, заключенным.

Портные гладят и шьют—у них много заказов.

Громкие голоса доносятся из механической мастерской, гремят котлы, выдвигаемые из печи, на кухне; на двенадцатом—меньшевистском—коридоре читает кто-то сообщения из газет, с «комментариями».

Идет своеобразно-пестрая жизнь.

Венгерец в изоляторе пытается понять соседа-англичанина—им переводчиком служит русский дипломат, знающий несколько языков.

В безумной тоске валяются на койках заключенные в карантине, а через двор туда ежедневно проходят новые партии из города с котомками, элегантными чемоданами, мешками в руках.

Нагруженные корзинами с едой бегают взад и вперед «передатчицы»—они приходят на коридоры, сгибаясь под тяжестью ноши—обратно в контору мчатся легко, с записками от заключенных к родным, им надо торопиться—очередь большая...

Нетерпеливо из окон, следя за каждым таким пробегом, «поглядывают» карантинные.

С пачкой книг из библиотеки проходит через двор на корпус писарь—за ним несется из конторы надзиратель с ордером в руках—кого-то на свободу!

На уголовных коридорах «режутся» в карты. Кого-то там бьют, доносятся крики—не заплатил проигрыша или передернул карту.

Приехали следователи—группами выводят на допросы к ним из коридоров заключенных—ведут через церковный двор в комнату следователей, рядом с тюремной конторой; там живут сотни любопытных мышей, шныряющих по комнате, не обращая никакого внимания на людей.

Следователям проносят через двор в судках обед—два блюда—суп с кусочком мяса и неизменная пшенная каша из «административного» котла.

А из окон тринадцатого коридора доносятся звуки бравурной мелодии, и тенор, сильный, с ласкающим слух тембром, поет итальянский романс о море, прибое волн...

Жизнь идет...

Отрывок двенадцатый.

Амнистия была одной из самых страстных и значительных иллюзий заключенного, ибо с ней связывалась надежда на свободу. Но мечта эта была капризна, как возлюбленная, сплошь и рядом обманывая ожидания томившихся в тюрьме. Ежегодно амнистия декретировалась Советской властью к годовщине октябрьского переворота. Это было твердое, реальное благо, явившееся фактором, облегчавшим ужас перспективы длительных сроков заключения. Заключенные только из-за этого легче и спокойнее относились к наказаниям, обычно выражавшимся в десятилетиях; заранее знали всю эфемерность угрозы. Трудно себе представить, каково было бы моральное состояние заключенных и как бы шла жизнь в тюрьме, если бы не эта аккуратная благодетельница. Декреты власти неизменно связывались с большими надеждами, чем это оказывалось на самом деле. Вдобавок самое проведение октябрьской амнистии проходило через ряд технически сложных этапов, неприятно подрывавших впечатление первой большой радости. Но не об этой амнистии, ставшей уж традиционной, грезилось. Мысли уносились к чуду, жаждали его изо всех сил, и поэтому горячечное воображение, распаленное грезой к свободе,

с каждым значительным событием Советской власти связывало радость неожиданного освобождения.

Тут доходили до абсурда—взрослые люди уподоблялись маленьким детям, которые способны были преисполняться острым восторженным ожиданием по каждому незначительному поводу. Может быть, так было нужно, может быть, без этих фантазий стремительно росла бы тоска и грозила бы раздавить тяжесть одиночества. Может быть... Не знаю. Зато четко помню, что терялся и не знал что делать, когда заключенные начинали тешиться этим самообманом. На песке строили они свое счастье—мечтали в своем бреду о какой-то чрезвычайной амнистии, по смыслу которой, якобы, две трети тюрьмы должны были бы быть освобождены. Приходили в ярость, когда им возражали и доказывали всю нелепость их мечтаний. Страстно хотели веры; может быть, даже в глубине души сознавая, что это не то, что это от больной психики, от отрыва от суровой действительности.

Иногда, когда прояснялось сознание, сами себе говорили:

— Вздор! чем хуже, тем лучше...

Но это было от логики, а чувство диктовало таинственное предвидение. Можно сказать, что бред был повальный, и поэтому тюремные коридоры начинали походить на сумасшедший дом, с той только особенностью, что невменяемость являлась однородной для всех.

Поражало сходство в выявлениях своеобразной болезни—бешеной тоски по амнистии. Почему-то у всех

оказывались записки одного и того же содержания, получаемые с воли. Почему-то всем обязательно конфиденциально и притом из самых достоверных источников, со слов видных коммунистов, сообщали об этой пресловутой амнистии: почему-то всех ждали к определенному числу домой, к «обеду».

Отчего же это в самом деле происходило?

Да оттого, что тюремные «безумцы»—накачивали, в буквальном смысле слова, своим психозом амнистий родных, которые легко подпадали под влияние бреда и утешали заключенных, уже передавая им, как проверенный факт, то, что они сами получали от узников из тюрьмы.

Получалось любопытное явление.

Болезнь росла. К счастью, она не была опасна, и при первом же крушении пламенных надежд на свободу, связывавшихся с амнистией, после того, как проходила реакция, готовы были над собой издеваться и вышучивали свое душевное состояние.

Казалось бы, после этого болезни конец, рецедивов быть не могло; но это только казалось, а на самом деле психоз правильно чередовался в определенные промежутки времени, с резким понижением настроения.

Ведь на политическом горизонте страны от времени до времени вырастало то или иное значительное явление, после которого государство укреплялось и в своей мощи росло, а заключен-

ные, тем временем, воздвигали свои воздушные замки, на вершины которых возносились сами.

Апогея безумие достигло в период мирных переговоров с Польшей и в дни заседаний 1-го конгресса 3-го Интернационала.

Сами по себе эти два события были достаточно значительны для того, чтобы, действительно, пробудить больную идею о свободе в тюрьме.

Возрадовались даже немногие скептики, ибо им казалось нормальным, что в день торжественного открытия коммунистами созданного 3-го Интернационала будет возвращена радость советской России. Нечего и говорить, что конец войны с Польшей, в которой в огромном напряжении выявилась Советская армия, был тоже в достаточной мере говорящим за себя крупным фактором. В тюрьме снова стали циркулировать передаваемые из уст в уста совершенно «точные» детали уже подписанного декрета о массовом освобождении из тюрем в связи с переходом Советской России на мирное положение.

Замечательно, что под влияние этого бреда подпадали даже и чины администрации тюрьмы. Оно и понятно, ибо даже в воздухе носились бациллы чудесных мифов о прекрасной амнистии.

Сестер и врачей, ежедневно являвшихся в тюрьму из города, засыпали вопросами все о том же, раздражаясь, когда получались неопределенные ответы. Создавался какой-то заколдованный круг, в котором на почетном месте восседала царица—амнистия, а вокруг

нее, в блаженном ожидании чуда, располагались фанатически веровавшие заключенные. Чудовищными были вести в тюрьме. Так, например, в дни конгресса передавали, что амнистия является результатом давления иностранных делегатов на Советскую власть, а во время мирных переговоров с Польшей с такой же категоричностью приписывали идею амнистии полякам, якобы потребовавшим ее от России. Умные, глупые, культурные и некультурные мужчины и женщины верили, ибо за амнистией был просвет, настежь открывалось окно на волю. Лихорадочно разворачивали газетные листы и не разочаровывались оттого, что не находили декрета об амнистии. Конгресс подходил к концу, мир с Польшей был подписан,—а в тюрьме утешали себя тем, что это не важно, что амнистию надо ждать и что она будет специально обнародована. Кончился и конгресс,—казалось бы, должно было наступить тяжкое разочарование, но позиции, на которых так тщательно укрепились заключенные, сдавались ими медленно, шаг за шагом. Помню, что в тюрьме совпал с заключительным заседанием конгресса спектакль, устроенный силами заключенных. Задолго до этого было известно, что группа белых офицеров должна была быть переведена в концентрационный лагерь. За час до начала спектакля все они были вызваны с вещами на коридор и вывезены из тюрьмы. В тюрьме поняли, что если бы ожидалась амнистия в самом деле, то не было бы этого вызова. Мечта, рожденная страстно жаждавшим чуда воображением, умерла. Наступили за спектаклем серые, скучные дни.

Актеры играли, подавленные суровой правдой. Усиленно политиканствовавшие и «осведомленные» заключенные-интеллигенты как-то сразу утихли, спрятались по углам и больше на злополучную тему об амнистии не распространялись. Наступили дни суровой действительности, когда больше всего хотелось одного—быстрого, ошеломительного бега дней, приближавших нормальным путем к свободе.

Я не понимал, как не хотели уяснить себе одного: могла ли какая бы то ни была власть, какой бы то ни был государственный аппарат, пусть даже в дни своего строительства, без конца дарить широкими амнистиями, в конечном счете сводившими на-нет всю карательную систему в стране? Но вере, все опрокидывающей на своем пути, нужны были опорные точки; амнистия была даже не точкой, а крупной базой, дававшей возможность воздвигать замки, населенные фантомами.

Амнистия была мечтой, за которой укрывались и сильные духом; она была тем розовым флером, сквозь который легче смотрелось вперед и о который разбивалась тюремная жуть. Что оставалось делать, как не ударять потом кулаками в исступлении в бессонные ночи по подушке, подобно детям, как это делали умные, взрослые люди—заключенные. Так рушилась детская греза о свободе, так разбивался на мелкие кусочки выдуманный, слабенький кумир...

Мой сосед, белый офицер-казак, накануне крушения чуда об амнистии пел:

По Дону гуляет казак молодой,
Цыганка гадала, за руку брала,
О чем, дева, плачешь, о чем слезы льешь?...

а потом, улыбаясь, рассказывал мне о родном Доне. Там—необ'ятные степи, живописная лента виноградников, и станицы, хутора-оазисы среди равнин, утопающие в зелени. Там ему привольно жилось. Там, на высоком холме, у хутора Камышного перед ним открывалась широкая панорама. Полосы зеленого поля сзади и по сторонам; впереди сухая выжженная солнцем степь волнами катится по склону, а далеко внизу, куда ни кинешь взором, ярко-зеленые луга. Там—вправо белой лентой раскинулся Дон и спит под горячими лучами солнца. Около него приютился небольшой лесок, а влево озеро, заросшее камышем; около пасутся белые стада овец, и одиноко бродят лошади, холеные на живительной траве. На пригорках раскинулись зелеными садами хутора, маленькие с пестрыми крышами, скрывающимися за зеленью. Внизу коридор из вековых дубов, тополей, по сторонам виноградники из кудрявых зеленых лоз, украшенные голубыми, зелеными и оранжевыми кистями. Тихий, мирный, сонный хутор; пестрые двух'этажные курени; мазанки, хаты во дворах, откуда заманчиво разносится запах белого душистого хлеба или жареных пышек. Поют старухи-казачки: посмотришь на них и вспоминаешь о том, как они щедро угощают сочным виноградом и кислым молоком, вкусным, жирным борщом и вином с жареным цыпленком.

А здесь, в тюрьме—капуста и черный хлеб. Здесь в открытые окна доносится:

В неволе сижу, на волю гляжу, а сердцу так больно.
Сегодня герой, а завтра с семьей, быть может, придется расстаться.

Песнь надрывная, тяжелая, а поют ее, стараясь казаться веселыми.

Белый офицер рассказывал мне, что боится сойти с ума от одиночества среди сотен чужих людей, с которыми в день не говоришь и двух десятков слов.

Как же было ему и еще сотням других не мечтать об амнистии, о прорыве на волю?

Отрывок тринадцатый.

Письма из тюрьмы... Они являлись для заключенных теми отдушинами, в которые уходила часть накапливавшегося нервного напряжения. Они помогали убивать длинные тюремные дни; они облегчали самое пребывание в ней, прорывая сплошную завесу жути в душе. О них можно было думать с самого утра, когда просыпался, как о вестниках радости.

Писали ярко и сильно те, которые ранее ни при каких условиях не писали ничего, кроме своей фамилии под деловыми бумагами.

Создавали поэтические перлы скромные, молчаливые прозаики.

И никто этому не удивлялся.

Основным было в письмах, конечно, беспокойство о родных, близких, оставшихся на воле. Потребность ощутить родного человека была характерна даже для бродяг заключенных, которые всегда стремились уходить от других в себя. Они смеялись над родственными привязанностями на воле и так цеплялись за них в тюрьме. И без конца разговоры—о свободе. Вот слово, которое становилось плоским и маленьким потому, что его трепали тысячи языков. Еще и потому, что там, в тюрьме, речь шла не о той свободе, ради которой тысячи положили свою жизнь, защищая право на нее, а о маленькой обывательской свободе—с воз-

вращением к житейскому плену, где суетились, жили, бегали и, усталые, засыпали. То же слово «свобода», те же буквы, может быть, та же ценность, но иное ощущение, иной смысл в нем. Так или иначе,—к этой свободе, засоренной на воле мелочами, казавшейся мне скорее той же тюрьмой, но уже за пределами каменного четырехугольника, стремились, рвались, как к неосуществимой мечте, как к жар-птице, заключенные.

Если бы эту энергию, тратившуюся на разговоры о свободе, эти мечты, это горение и устремление к ней претворить в какую-либо полезно выраженную действенную силу,—как много можно было бы сделать!

Мечта о свободе обессиливала заключенных; временами она перерождалась в своеобразный горячечный бред.

Просыпались утром. Во сне снилась им воля—и этого было достаточно для того, чтобы счастливец со сном о свободе бегал к дверям и вглядывался в темноту лестницы в ожидании вестницы с ордером—девушки из конторы. Ведь бывали чудеса—когда сны, хотя и редко, но сбывались. К вечеру мечтатели, отказавшись от ужина, хандрили в своих углах.

Энергия уходила бесцельно, поглощаясь каждый день воздухом, как вода песком.

Письма заключенных отражали эти настроения пустоцветов, развивавших в себе неврастению—с уклоном к истерии.

Мне удалось однажды в комнате писаря, через которую проходили письма к заключенным с воли, просмотреть еще не распределенные по коридорам, и я

обратил внимание на характерную особенность. В большинстве они были от жен, редко от матерей и еще реже от детей. Все письма были окрашены в одно—заботу о заключенном. В них чувствовались слезы, а из каждой строки выступала искусственная бодрость. Но эта искусственность нами часто чувствовалась как резкая фальшь, и рождала недоверие. Если бы письма были только следствием желания родных утешить заключенных! Они являлись иногда результатом желания скрыть отсутствие боли у тех, кто писал с воли. Оставшиеся холодно принимали, как неизбежное, арест близкого и продолжали жить, включив в круг своих обязанностей еще одну в отношении к тому, кто сидит в тюрьме.

Такова жизнь. И в горе все же кривлялись.

«Может быть, это парадоксально,—думалось мне,—но похоже на то, что многие женщины, мужья которых сидят в тюрьме, именно теперь могут похвастаться новыми ощущениями, обогатившими их жизнь: приготовления, передачи, хождения в тюрьму, свидания, письма. Вероятно, они радуются этому событию в их тусклой жизни».

Можно ли было позавидовать оставшимся на воле с бременем забот и хлопот о тюремных жильцах. Письма из тюрьмы на волю не несли никакой радости и бодрости.

Жалобы, надрывы, боль, упреки, холодные, скупые слезы, угрозы покончить самоубийством—и все для того, чтобы побудить близких быть активнее в хлопотах по освобождению из тюрьмы.

Я перебрал несколько писем в «конторке» писаря.

В них писали:

В одном:

«Дорогой мой, не думай, что я могу тебя забыть. Все время передо мною ты, и мысль о тебе не покидает меня».

В другом:

«Милый, когда же, наконец, мы снова будем вместе? Или ты недостаточно уверен во мне?»

В третьем:

«Как могло тебе прийти в голову, что не отвечаю потому, что занята другим? Успокойся! Он у нас не бывает. Все мои мысли сосредоточены на тебе».

В четвертом:

«Ты спрашиваешь меня, забуду ли я тебя, если суждено тебе сидеть долгие годы? Тебя беспокоит надвигающаяся нужда. Ты терзаешь себя мыслью, что я буду искать себе сильных покровителей? Родной мой, я слишком люблю тебя и предпочту умереть под забором, чем изменить тебе».

В пятом:

«Как глупо ты обрушился на меня! Что увидел ты в том, что я запросила, как быть мне... Ведь речь шла о твоем спасении. Но что же делать мне? Беспомощна! С такой огромной силой влечет меня к тебе! Ведь любовь наша так молода, и из ее чаши мы пили так недолго. Пойми меня и не осуди».

В шестом:

«Почему запрещаешь ты мне играть на сцене? Разве это помешает мне нести на себе всю

тяжесть забот о тебе? Ты глуп. Разве, возвращаясь после спектакля, не опускаюсь на колени перед иконой в углу и не молюсь всевышнему, чтобы вернул тебя в семью?»

«Наша девочка все спрашивает о тебе. Она просыпается и вскрикивает по ночам. Она все спрашивает: «когда папа вернется?».

И еще, и еще письма... Все они одинаковы в своем томительном однообразии. Я вспоминаю эти листочки, покрытые маленькими черными буквами, которые оживали в руках тех, кто жадно склонялся над ними по два, три, четыре раза, прочитывая их, десятки раз пытливо переспрашивая соседей о значении тех или иных фраз. Заключенные плакали над ними в своем углу, потом оживлялись, садились и писали ответы женам, сестрам, матерям.

Особенно трогали заключенных письма от детей и матерей. Они были скромны, и в них всегда таилась любовь, скорбь настоящая, подлинная об отце и сыне.

Письма освежали заключенных. А вот мне, случайно прочитавшему их пачкой, казалось, что лгут все в однообразном заверении в преданности и любви.

Все письма сливались для меня в одну сплошную фальшивую тень.

Но да будет благословенна ложь во спасение, думал я, ибо делалось ведь это все для того, чтобы утешить заключенных, увеличив их спокойствие и силы. Ну, и, разумеется, избавить пишущих на воле от угрызения совести и от упреков нервно настроенных заключенных, на которые так щедры были в своих за-

писках последние. Почему так старательно уверяли женские письма в преданности и верности? Да потому, что все письма, уходившие из тюрьмы на волю, полны были только этими вопросами. Сколько раз мне приходилось наблюдать, как метались заключенные в жестоких страданиях от ревности, сжигающей душу, от недоверия к оставшимся на свободе женам. Каждый из заключенных чувствовал бы себя много легче, и много безболезненнее проходило бы его пребывание в тюрьме, если бы не было жены на свободе. Расцветали от ласк с воли, но не надолго. Снова хмурились, снова сжимались, ибо сомнения властно закрадывались в душу. Редко попадались одиночки, связанные крепкими узами с любившими их на воле...

Они озарялись подлинной, действительной радостью от писем, в которых им чудился аромат любви, или крепкой, проверенной дружбы.

Было странно, как исчезала вера у заключенных в прочность их семейного очага. Как дым, таяло спокойное доверие к жене или подруге, и, бесконечно нервничая, всяческими способами испытывали глубину привязанности к себе своих близких. Я наблюдал пожилых, солидных заключенных, многосемейных, как дети плакавших, не краснея за свои слезы, если во-время не получали писем из дому. В камерах строились самые ужасные, нелепые предположения узниками о женах, якобы изменявших своему долгу.

Но и здесь большая любовь пробиралась через решотки, и здесь ее не смущали никакие преграды; и

здесь преодолевала она все препятствия, делала счастливыми даже тех, кто уходил на смерть; давала редкие иллюзии смертникам, жизнь которых исчислялась минутами. Они, эти любимые и любящие, принимали смерть с ясной улыбкой только тогда, когда верили, что их подлинно любят. Рядом с безумной болью, с нечеловеческим страданием, что расстаются с любимым существом, была крепкая уверенность, что остается после них человек, в сердце которого будет построен памятник погибшему любимому.

В этом была осмысленная, трогательная красота, которая поражала и удивляла меня.

Помню одного заключенного, десять дней просидевшего в тюрьме: он совершил какое-то тяжкое преступление и был приговорен к расстрелу. Когда для исполнения приговора его вывели в комнату «душ» к воротам, он заметался в ней из угла в угол, плакал и рвал на себе волосы от того, что не успел написать прощальный привет жене. Он задыхался, дергая на себе ворот рубашки. Успокаивался только после взрывов ярости, утомлявших его, садился в угол, тупо устремляя взгляд в окно. Потом снова подбегал к двери, протягивал через решотку руки и молил о карандаше и бумаге, глухо выкрикивая:

— Ради бога, скорее карандаш и бумагу, пока не поздно, ведь меня сейчас уведут!..

Когда я уяснил себе, что мне суждено долго пробыть в тюрьме, сжался, решив убить время в работе. Вначале писал и я много, обращаясь к кому-то в пространство, рвал написанное и снова писал, ибо не мог

же рассказывать о том, как шла моя жизнь в тюрьме, настоящая, всамделишная. В глубину сочувствия доходивших до меня в тюрьму писем я верил слабо, ибо не был юн и наивен. Знал законы жизни. И не могло же быть иначе, ибо не может же каждый уходящий уводить с собою всех тех на смерть, кто связан с его жизнью. Кто остался бы тогда в жизни? Поэтому боялся жалких слов и решил обманывать, уверяя хотя бы других, что я во много раз крепче, чем им кажется. Не хотел ни в ком возбудить к себе сожаления, стремился создать убеждение, что не потерял еще всех ценностей. Поглядите, мол, как крепок, как силен и как держу себя в руках. Приблизительно так твердил в записках. Сам не заметил, какую огромную роль сыграл для меня этот насильственный тон. Школа тюремная была сурова, а необходимость подтягивать себя изо дня в день—сохранила меня от острых припадков меланхолии, в которую так часто, с головой, уходили соседи. В тюрьме сказалось действие моей способности бессознательно, в одном напряжении, собирать все силы после удара, чтобы не быть окончательно раздавленным. Я способен был нагло глядеть в глаза судьбе, думая: «Ты полагала, что свалила, голубушка, на части искромсала, обрезала крылья? Погоди, еще силами померяемся!». Мне помогал в этом случае громадный запас жизненной энергии и цепкости, обладателем которой я являлся, а с ними темперамент и уверенность в том, что скажу еще свое слово, во имя которого мне необходимо сохранить себя во что бы то ни стало.

Стоил ли я многого или малого—в конце концов, не это определяло мое настроение и непобедимое желание сохранить себя. Только бы не в тюрьме погибнуть, упорно твердило мое сознание, только бы не здесь, за решоткой сломаться.

Эта больная, дикая идея поддерживала мои силы. Разве по существу не все равно было где погибнуть, если суждено было погибнуть? Но то, что окружающие подставляли покорно свои спины под удары, злило меня настолько, что избавляло от опасности быть похожим на других.

Не хотел писать о себе, ни за что, и именно в тюрьме—друзьям на волю, так как письма с воли бередили и без того мои раны, мешали борьбе с самим собой. Поэтому вздохнул свободней, когда перестал писать и получать письма. Отделывался коротенькими записками, от которых уже нельзя было убежать.

Я поворачивал судьбе не бледное от страха, а спокойное, скорее даже безразличное лицо. В тюрьме я чувствовал себя крепким. Тюрьма была еще не последнее, не самое страшное испытание, потому что рядом с печальным сознанием о наручниках, наложенных жизнью, жила надежда. Я просыпался нередко утром в своей одиночке, и четкая мысль заливала бурной радостью мое сердце.

«Здесь в тюрьме, — думал я, — я независим и свободен от мыслей, связанных с необходимостью борьбы за существование».

Рубль не хватал меня здесь за горло. Я радовался тому, что освободился от влияния внешнего, незна-

чительного, проникаясь странным чувством теплоты и благодарности к толстым каменным тюремным стенам.

Мысль о воле в иные минуты возбуждала во мне скорее тягостное раздражение, чем радость.

В таком настроении я находился, когда в тюрьме, на спектакле, встретил Елену. Не обратил на нее сначала никакого внимания, ибо показалась она незаметной и похожей на всех.

Она скромно сидела в углу и коротко отвечала на вопросы. А я занимал уже «положение» в театре, будучи главным режиссером.

Однажды, когда, обучая актеров на тюремной сцене, особенно нервничал, почувствовал взгляд чьих-то недобрых глаз, обернулся и встретился с направленным на меня в упор взглядом Елены.—Мне стало что-то не по себе.

Казалось, верить надо было только ему, этому первому впечатлению, которое никогда не обманывает, а всегда бывает настоящим. Я подошел к ней, представился, закидал вопросами и, ощутив какое-то странное доверие, легко заговорил с ней.

Случилась встреча на десятом месяце моего пребывания в тюрьме.

Она была многозначительной.

Отрывок четырнадцатый.

Я вспоминаю, как через несколько дней после встречи с Еленой в тюрьме стал испытывать какую-то странно-растущую симпатию к ней. На мои частые вопросы она отвечала неохотно и так немного о себе рассказывала, что давала повод к самым неопределенным догадкам о себе. Но мне не хотелось в них уходить, вопреки своему обыкновению.

— За что вы угодили в тюрьму?—спросил я Елену.

— Меня обвинили в том, что я пыталась дать взятку за освобождение моего мужа,—ответила Елена.

— А где ваш муж?

— Он на свободе.

— Так зачем же вы пытались его выручить?

Молчание. Всем своим видом подчеркивала, что не желает продолжать разговора со мной на эту щекотливую тему о муже. Я умолкал.

Елена сразу выделилась в тюрьме своей скромностью, привлекла к себе общее внимание осторожным, симпатичным спокойствием, своим мягким тактом и выдержкой. И если что-нибудь я говорил или делал на сцене в дальнейшем, то неизменно искал Елену глазами, чтобы получить ее молчаливое одобрение.

Она отлично замечала мой интерес к себе, но совершенно не выделяла меня из общей массы тюрем-

ных жителей, с которыми приходилось встречаться на коридорах. Она словно чем-то была напугана и ни в чью искренность не верила, никому не доверяла, ни с кем не желала сближаться. В тюрьме Елена пробыла всего четыре месяца, но наполнила содержанием все мои дни в этот период. Я с нетерпением ждал ежедневно ее прихода на репетиции, почтительно провожал до камеры и робко, нерешительно целовал ей руку.

Это совсем не было похоже на меня, не вязалось, вдобавок, с обстановкой тюрьмы, но такова была сила ее чудесной ласковости. Елена требовала бережного и внимательного к себе отношения. Понемногу я стал завоевывать ее доверие, гордясь этим и скупо отмечая в памяти успехи по завоеванию ее расположения, хотя они были пока невелики.

— Как ускорить мне пересылку моих писем на волю?—спросила меня однажды Елена.

Я предложил свою помощь. После недолгих колебаний она вручила мне два своих письма. Я заметил, что ее волновала моя напряженная искренняя нежность к ней, возраставшая с каждым днем, по мере того, как я стал инстинктивно чувствовать, что близится срок ее освобождения из тюрьмы.

Я понимал, что Елена не отдает себе отчета в своей незаурядности. Я поставил себе целью настолько углубить наши с ней добрые отношения в тюрьме, чтобы память о них жила долго в ее сердце. Передо мной разворачивались в перспективе еще долгие месяцы заключения, и, несмотря на то, что я знал, как сложна будет жизнь Елены на воле, все же верил в наши

встречи с ней, после тюрьмы чуял какое-то будущее с ней. Именно поэтому я был так осторожен, так боялся вспугнуть ее и разрушить незнакомую мне доселе прелесть, создавшуюся нашим с ней общением. Однажды два проходивших через мои руки письма Елены распечатал. Там обо мне писала она своей приятельнице: «Он не похож на других, в нем есть нечто, что привлекает и волнует меня». Я испытывал радость от того, что̀ узнал из ее писем,—и никакого стыда.

Стал упорнее и настойчивее завоевывать ее несмелую симпатию к себе. Становилось на душе легче, бодрее.

Меня заметила женщина, которая взволновала меня своим присутствием в тюрьме.

Я это знал, но дальше доброго приятельства пока не простиралось ее внимание ко мне. Она шутила, веселилась, слушала и смеялась с другими, как со мной.

Одно случайное обстоятельство открыло мне глаза на ее отношение ко мне и окрылило мои надежды.

В коридоре, на тюремной сцене, шел спектакль «Дни нашей жизни» (я был режиссером).

На сцене и в коридоре внезапно погасло электричество. Я, усевшись рядом с Еленой на сцене, на диване, слегка обнял ее.

Она задрожала всем телом, стала ускользать из моих об'ятий, но нерешительно, словно сама хотела моей маленькой ласки.

«Значит,—думал я,—ей немножечко мил».

Это было первым доказательством крошечной победы моей над Еленой.

Я смеялся над собой—смеялся над тем, с какой старательностью собирал по мельчайшим деталям факты, свидетельствовавшие о моем «успехе» у Елены. Мне кажется—заметь она эти мои старания,—решила бы, что я смеюсь над ней; настолько, по тому представлению обо мне, какое у Елены создалось, казалось бы ей неестественным мое поведение. Но, на самом деле, я был далек от шуток—я совершенно искренно увлекся своей тягой к Елене—все свое вдохновение переместил на поиски в ее натуре величия и значительности. Через несколько дней после репетиции провожал ее к камере, где нужно было взять книгу Елене. Меня шырнула к ней какая-то сила. На лестнице, в страстном порыве, закинул ее голову и крепко поцеловал в губы—она ответила длительным поцелуем. И, несмотря на это, оставался, в дальнейшем, таким же предупредительным, скромным и нетребовательным поклонником.

Наступил день освобождения Елены из тюрьмы.

Я принес ей первый весть об освобождении; мне было грустно, а она радовалась, как дитя, что уходит на волю. С ней я не чувствовал тюрьмы, и поэтому ее радость больно задела меня, ей было мало дела до меня. В последний день ее пребывания в тюрьме мной ставилась на тюремной сцене «Гибель Надежды». Елена играла роль Ио. Я взял с нее слово, что она приедет к началу спектакля, иначе, в связи с ее уходом на волю, пришлось бы отменить спектакль в тюремном

клубе. Ждал ее с огромным нетерпением. Она приехала, как обещала, и тогда в уборной ее я дал волю своему странно усилившемуся и окрепшему чувству к ней. Я был опечален ее уходом на волю, ибо снова становился одиноким в тюрьме. Было тяжко, сиротливо, пусто на душе.

Нас никто не стеснял в последний вечер. Она была со мной сердечна, ласкова и так сама скорбела о том, что расстается со мной. Я понял, что достиг своей цели, что так или иначе, но она уже ощутила всю сущность волнения, вызванного ею в моей душе. Елена, недоверчивая, скупая, была сама заинтересована своеобразием наших встреч.

И ей мерещились наши дни на воле.

Она просила писать; она, скупая на слова, этого сама хотела. С радостью ухватился за эту возможность. Мы расстались.

Окончился спектакль, под конвоем из клуба служащих нас увели в клетки, а Елена уехала к себе домой. Она сдержала свое слово—через несколько дней после ее ухода я получил от нее первое письмо. В нем отразилось все ее обаяние; она кротко и сдержанно рассказывала о случившихся с ней на свободе неприятностях.

Ей, оказывается, пришлось столкнуться с массой неожиданностей, усложнивших ее дни.

«Нужно залечить столько ран, сделать столько заплат, но я не унываю, не падаю духом,—писала она, а выйдете ли вы когда-нибудь?»

Я отсиживал десятый месяц и не знал ничего о том, когда кончится мое хождение по тюремным мукам.

Что я мог ей ответить?

Я писал ей охотно, нашел такие ласковые слова, такую нежность, такие искорки юмора, что сам не понимал источника своих порывов к маленькой, такой далекой Елене.

Отрывок пятнадцатый.

Многочисленны были пути, ведущие в «Рим»—на свободу,—хотя бы на несколько часов. Я вспоминаю, как поразился я непонятной мне тягой к «вылазке в город» у заключенных. Столкнулся с фактом мнимых разводов и браков заключенных во имя получения возможности провести день в городе, рядом со своими близкими, в народном суде, куда обычно вызывали для выполнения процедуры разводов. Этим не исчерпывалась фантазия узников—оставались еще такие поводы к вызовам, как просьбы об усыновлении детей и т. д. Кроме того, создавали фиктивные процессы по обвинению в оскорблении действием; повестка в суд означала прорыв на волю, хотя бы на несколько часов.

Но мне, позднее энергично пользовавшемуся всеми «обходами», бывало не по себе. Создававшаяся в результате огромных усилий скромная иллюзия ни в какой мере не соответствовала цепи затраченных усилий.

В тюрьме, по возвращении, тускнели впечатления за день, и я готов был презирать себя за то, что не находил в себе мужества «сидеть», не прибегая к любезностям тюремной администрации или милости конвоиров.

Власть последних начиналась с момента нашего выхода на улицу из тюремных ворот.

Но за подобными праздниками наступали снова серые тюремные дни; за искусственным возбуждением, по возвращении из города, следовала жестокая реакция.

Разве забуду горе, которое овладевало мной, когда возвращался в тюрьму? Пластом валился на свою койку, перебирая все сказанное за день, припоминал болтовню ребенка, милое участие старой няни; звонки знакомых, считавших своим долгом обрадовать меня, уже месяцы отсидевшего.

Я дома словно окунался в ванну с теплой водой, душой ощущая блаженную радость покоя.

Правда, визиты на квартиру вводили в самую гущу интересов близких мне людей. Вернее говоря, я ощущал их непосредственно с того момента, как опускался в своем кабинете на кресло у письменного стола.

На короткие минуты овладевало состояние блаженного покоя. Казалось, что нет места страху в заключении, в котором общение с внешним миром могло быть непрерывным.

Успокаивало меня то, что заставал в городе, на улице и в своей квартире ту же обстановку, тех же людей. Я рос, перерождался в своей одиночке, а на воле в моей семье все шло так, как будто ничего не случилось в моей жизни.

Я оживлялся, когда в тюрьму приходила партия и в ней—«вольные» знакомые. По обязанностям главного режиссера обходил ежедневно «карантин», от-

куда извлекал «актеров» в театральный коридор (тринадцатый).

Вновь приходившие вносили живое беспокойство и стремительную настойчивость быстрее сжиться со всеми традициями тюрьмы. И для них выходы в город бывали светлой мечтой, верхом достижений. А я, под конец, вкусив достаточно от этого плода, стал тяготиться этой радостью, стал тянуться к углублению моих интересов в тюрьме.

Законы тюремной жизни делали свое. Гигантскими усилиями воли я дошел до полной победы, когда выбросил все внешнее, «потустороннее» из головы, забыл о событиях и жизни огромного города за стенами тюрьмы, впитывая в себя только одну ее. Здесь, как и на воле, стремился стать выше и радовался, когда этого достигал. Борьба с самим собою в период жизни в тюрьме была для меня самой страшной, самой напряженной, но по результатам самой победоносной. В каменном четырехугольнике нужны были нервы как канаты.

Солнце в тюрьме закатывалось часто тогда, когда оно продолжало еще светить на земле...

Вызовы в суд заключенных, приходы их с приговорами обратно в тюрьму, безумное одиночество смертников в ожидании помилования, уход в одиночку и партиями на свободу,—вот события, которыми жили в тюрьме две тысячи человек. Через тюремные коридоры и камеры прошли и пройдут десятки тысяч взрослых людей, и после моего выхода из тюрьмы каждый

имел в тюрьме свою жизнь, свою веру, свои горести, разочарования, скорби и радости.

В ней одни проводили свои последние дни, другие проходили через нее, как через один из этапов своей жизни, третьи—жизнерадостные и крепкие—приносили сюда свою яркую любовь к жизни, и уходили на волю, весело возбужденные, радуясь тому, что богаче стали опытом.

Я наблюдал случаи, когда заключенные уносили из тюрьмы любовь к женщинам, с которыми сталкивала их жизнь в тюремных корпусах.

На воле потом связывали единым узлом свои жизни надолго.

В воздухе тюрьмы, в ее каменных стенах чувствовалась эта многоликая, многообразная жизнь заключенных. Когда хлопала железная дверь, мы забывали, что на воле, в погоне за куском хлеба, были больше, чем лютыми волками. Здесь мы об'единялись одной целью, одним стремлением—к свободе. Все понимали именно в тюрьме ценность свободы, постигали все ее значение.

Только бы вон из тюрьмы!—Пусть на воле—только кусок черного хлеба и воды, под сводом раскидывающегося голубого неба,—мечтали слабые и сильные одинаково; последние стремились не растерять себя, собраться с силами, выдержать натиск судьбы, и урок, суровый урок жизни, принять без возражений, бесполезных споров—гордо и холодно. Стискивали зубы и говорили, что не надо давать себя сломать. А иногда грозили кулаками судьбе, теряя равновесие,

и приходили в неистовство. Слабые же уносили из тюрьмы какую-то растерянность надолго даже тогда, когда проходил их страх перед неизвестным будущим. Были среди них жаловавшиеся мне на тюремное заключение. Им казалось, что большое их прошлое умирало раз-на-всегда, а от будущего отделял железный занавес. В них не было уже способности к ощущению перспективы.

Такие слабые переживали жуткие моменты, когда казалось им, что жизнь кончена.

Безысходное, сосредоточенное отчаяние обесценивало таких узников в их же собственном представлении и неминуемо влекло их если не к душевному краху, то к самоубийству. В таких кандидатах в инвалиды, готовых вот-вот сойти на-нет, я старался резко пробудить самолюбие.

Иногда это удавалось мне, и поистине, испытывая приливы слабости сам, получал удовлетворение от под'ема «усталых»—моих питомцев.

В тюрьму часто приходили напуганные и, в ней—отупев, с одинаковым равнодушием принимали как смерть, так и выход на свободу. Слабых и тут было больше, чем сильных, ибо являлись люди из жизни, ничем не отличавшиеся от тех, что оставались по ту сторону тюремной стены.

По случайному выходу заключенных в город, когда возвращались они, впитавшие, пусть на несколько часов, темп и пульс вольной жизни, можно было определить степень «выучки» тюрьмы.

Тюрьма имела свои будни и праздники. Мне казалось, что все искусство победы заключалось в том, чтобы самого себя обмануть, самого себя принудить к тому, чтобы каждый тюремный день принять, как принимался он на воле. Сделать вид, что все в порядке, и что, если хорошенько вдуматься, нет никакого ужаса в новом положении.

Моментами удавалось внушить себе это. Тогда верил, что тюрьма и жизнь в ней имеют свой большой, глубокий смысл.

Я с удивлением наблюдал, как заключенные, из разряда крепких, давая себе обещание работать, читать, писать, выписывали из дому книги, учебники, создавая себе свои библиотеки, но не приступали к работе. Не могли, не хватало выдержки побороть сознание, что они в неволе.

Современная тюрьма имела человеческим материалом обывателя. Разве так легко было ему зажать в себе мещанина, утробного, ненавидящего решотку и «любящего» свои удобства и себя прежде всего? Разве мог бы каждый новый жилец самого себя уверить, что в тюрьме огромным достижением было искусство овладения самим собой? Да, именно, в тюрьме—не на воле, где все благоприятствует любым настроениям обывателя, в тюрьме, где борьба человека с судьбой обостряется до пределов.

У меня вначале не хватило сил—я подчинился общему настроению и пошел по этому пути в первый период пребывания в тюрьме. И только несколько позднее смог читать без конца, без остановок—но-

чами, днями, вечерами. Но только читать, а не учиться или писать. Органическая, настоящая работа не удавалась мне. Работали только партийные в тюрьме. Помогали привычки к высиживанию годами в тюрьмах в эпоху самодержавия. Но как мог делать это заключенный подследственный—обыватель, нетерпеливо ожидавший наступления каждого дня, чтобы выяснить, будет ли он сидеть дальше, или пойдет на свободу? Все решительно поглощалось только этой заботой, только этой мыслью, парализовавшей всякую тенденцию к длительным усилиям. Только тот из заключенных, кто умел мудро, философски принять темницу, сохраняя для дальнейшего силы, избавлялся от печальной необходимости наблюдать на себе упадок сил и понижающуюся волю к жизни.

Отрывок шестнадцатый.

Вспоминаю, что только в конце апреля я вышел под конвоем в город к доктору.

Огромное количество энергии было затрачено мной на то, чтобы добиться этого права. Я мечтал об этом дне с таким жаром, как об ордере на свободу. Вместе с тем, меня преследовала мысль, что какие-то мне неведомые обстоятельства помешают использовать до конца чудесную возможность—предчувствие меня, как показало дальнейшее, не обмануло.

Не поэтому ли я так своеобразно-полно переживал каждую свою секунду вне тюрьмы? Вышел на улицы Москвы и тотчас направился к Елене. Позднее в течение недели выходил ежедневно за тюремные ворота на волю. Каждый раз, когда уходил от Елены в тюрьму, страстно желал своего с ней дальнейшего свидания, ибо не верил в его возможность.

Стояли чудесные апрельские, солнечные дни. Чувство неподдельного восторга испытывал я, когда выходил за ворота тюрьмы.

Первое впечатление получал от ребятишек—детей тюремных надзирателей. Они весело кричали мне:

— Здравствуй, дядя!..

Они хорошо меня знали и любили, так как я много смешил их на детских спектаклях в клубе

служащих. Кто знал, как зачастую трудно давалось мне это уменье смешить детей тюремных аргусов.

Я шел по мостовой, рядом с конвоем, и все же подлинное счастье волнами заливало сердце.

С удивлением думал: «Да бывало ли в жизни так хорошо мне, как сейчас? Неужели нужно было сесть в тюрьму, чтобы испытать такой бурный восторг от мнимого освобождения на несколько часов из тюрьмы?».

Может быть, именно этим моим настроением определялось катастрофически-возраставшее притяжение мое к Елене, которое в дальнейшем так связало меня с ней.

Она, в светлом весеннем платье, ласково встречала меня. Было подлинно хорошо, как тогда, когда испытывал радость огромного внутреннего удовлетворения.

Меня глубоко волновала и влекла к себе душевная простота Елены, ее столь редкая, ярко выраженная непохожесть на всех.

В ней жил такой же панический страх перед шаблоном, как и во мне. Она просто боялась принадлежать мне, потому что у нее не было уверенности в том, что это мое желание имеет своей природой чувство к ней. Ей нужно было какое-то внутреннее оправдание этому шагу, а его пока еще не было.

На мои редкие вопросы о своем житье-бытье Елена неохотно отзывалась, а хотелось знать много о ней. Стремился проникнуть в самые углубленные тайники ее души. Казалось, что каждая секунда, не приближающая меня к ее затаенному, потеряна безвозвратно и по длительности подобна годам.

Несколько раз у нее прорывалось восклицание:

— Я качусь в пропасть...

Заволновавшись, стал допрашивать ее, добивался раз'яснения сказанному, строил догадки, предположения, излагал их вслух, но она отрицательно качала головой.

— Молю тебя, откройся мне,—говорил я ей.

— Нет, нет,—твердила Елена.

— Почему же? Почему боишься меня? не скажешь?—настойчиво повторял я свой вопрос.

— Пошутила,—отвечала неизменно Елена.

Много позже я узнал, какова была глубина этой пропасти. Елена сама дорого бы дала за то, чтобы вернуть то время, когда была еще у пропасти. Ей жилось худо, она вынуждена была продавать по частям свое небольшое имущество, а продав все и оставшись совершенно без источников к существованию, собиралась Елена уезжать в Ташкент. Об этом сказала мне.

— Почему так далеко и зачем в Ташкент?—спрашивал я.

— Так надо,—следовал малоубедительный ответ.

Я говорил ей:

— Елена, ты терпишь лишения, позволь мне—я помогу тебе.

— Нет, мне ничего не нужно,—следовал короткий, гордый ответ. Глаза ее, сурово-печальные, как две ясные звездочки, мерцают на похудевшем лице, но в них ведь не все прочтешь. Накануне того печального дня, когда меня с конвоиром случайно встретил на улице начальник тюрьмы и железная дверь темницы за мной

снова захлопнулась, Елена в стихийном порыве отдалась мне, но так неожиданно, с таким душу раздирающим плачем, что мне стало жутко, ибо казалось, что разбивается ее душа, что совершается мной кощунство над ней.

— Не надо было этого делать, не надо, не надо... —твердила Елена.

Ее не могла коснуться грязь,—внутренняя сила и обаяние спасали Елену от влияния будней. Как крепкая скала, высилась эта маленькая женщина-девочка над волнами жизни.

Все больше преисполнялся я к Елене крепким уважением, все больше влюблялся в мечту свою о ней.

Нашел, наконец, подругу, нашел то, что искал. Обрел свою царевну-грезу,—так думалось мне. В какие пышные одежды не одевал я ее в своих причудливых фантазиях!

С какой тоской не приникал к ее детским коленям!

Вознес, посадил ее на трон, царицу своих чувств. Сам покорно сел у подножья и любовно-робко смотрел в ее чудные глаза. Я был рабом, но не ее тела, нет, а своего восторженного чувства к мечте, воплотившейся в ней. Вера в нее была тем страстнее, тем болезненней, что я был за решотками и, вдохновившись своей идеей, умел жить только ею. Мне давала эта идея отдых и утешение в тюрьме. Я знал много женщин, понимал, что романтика и сентиментальность в отношении к ним—груз, от которого давно бы следовало отказаться.

Знал, что надо быть покойным, трезвым, сильным, видеть то, что есть, а не обольщаться грезами. Но с Еленой я гигантским усилием все эти старые истины отбросил в сторону и уносился вверх, к звездам.

Она не понимала меня, хотя чувствовала какую-то странность и необычность в подходе моем к ней.

Она, в своем неверии, считала, что я взволнован только чувством, какое просыпается у мужчин в отношении привлекательной женщины. И ничего больше. Может быть, не хотела понимать больше.

Это охлаждало мою пылающую голову, но я не привык так легко расставаться со своей верой. Я был упорен и так давно носился со своей мыслью,—все свои грезы уложить в живой образ. Она, кажется, долго не понимала смысла отношения моего к ней, но я настойчиво цеплялся за свою идею.

Мои свидания с Еленой оборвались после встречи с комендантом на улице. Я заболел и был помещен в тюремную больницу, а она тем временем уехала в Ташкент.

А между тем, как часто уже казалось мне, что тонкая ниточка, скрепляющая нашу, стремительно возникшую связь, резко перервется случайным дуновением ветерка.

В тот день, когда получил после долгого перерыва от Елены весточку, был уже в Таганке; ставили в тюремном театре пьесу «Дни нашей жизни». Вспомнил исполнительницу роли Оль-Оль в Бутырках—Елену. Я не отдавал себе отчета в причинах огромной тоски по Елене, властно заполнившей в тот

момент мою душу. Но она была необычайно значительна—она была остра и буквально причиняла мне физическую боль.

«Если бы получить хоть несколько строчек от милой скромницы с чудесными глазами-звездами,—мечтал я. А получив их, в тот же вечер, бурно обрадовался, увидел в этом какое-то предзнаменование.

Елены я больше на воле не видал.

Что с ней? Как и где проходит ее жизнь?

Отрывок семнадцатый.

Любовь в тюрьме...

Я пережил сам огромный порыв к Елене, с которой больше мне не суждено было встретиться...

Но видел еще, как любили, тосковали и разбивали себе жизнь другие—любившие на воле, в тюрьму приносившие эту свою любовь; наоборот, видел, как из тюрьмы выходили на свободу заключенные, только в тюрьме ощутившие радость большого, значительного чувства, рожденного в тюрьме к «арестантке».

Правда, жен в тюрьме нашли себе немногие—это было редко, но было...

Зато как часто теряли их приходившие в тюрьму.

Два случая, прошедшие на моих глазах, крепко засели в моей памяти.

О них хочется рассказать. Они показались мне характерными и значительными.

Миронов, заместитель председателя одного из крупных государственных учреждений, тяжко переживал свое сидение, ибо подлинно и бесконечно страдал в тюрьме. В сущности, он был одним из немногих заключенных, который производил впечатление человека, в темницу попавшего действительно только по злому стечению обстоятельств.

На воле Миронов нес радостно свою огромную ответственную работу—некогда рабочий у станка, он, в годы революции, сумел всей душой отдаться работе на нее.

Энергичный, решительный, смелый, он увлекал за собой и других; высокий ростом, с упрямым подбородком и пристальными глазами, Миронов казался настоящим человеком всем, с кем сталкивался он на воле и в тюрьме.

В Бутырки Миронов пришел уже наполовину раздавленный. Может быть, он покончил бы с собой в момент, когда его арестовали, если бы не жена, мысли о которой вынудили его остаться в живых.

Из кабинета, в котором управлял важнейшей отраслью хозяйства в областном масштабе, скатился в одиночную камеру. Он—коммунист.

Миронов поэтому считал, что с ним уже, следовательно, все кончено, а вот как быть с женой его, с Наташей... (в тюрьму он пришел без Наташи—она осталась в Чеке).

Из одиночки, куда вначале поместили Миронова, через несколько дней перешел на коммунистический коридор, где он был вскоре избран председателем культпросвета.

Свое дело исполнял он механически—ему нужно было видеть жену подле себя, ее ждал каждый день.

Были сведения, что со дня на день Наташу должны переотправить в тюрьму.

Рядом с Мироновым в камере помещался Пантелеев—комиссар одного из следственных органов рес-

публики, отбывавший небольшое наказание за превышение власти. Срок его неволи был на исходе; ему вообще, как краткосрочному и «служащему» тюремной конторы, жилось легко. В канцелярии тюрьмы работали трое заключенных «счастливцев», в их числе был Пантелеев.

Пантелеев почему-то с первых дней появления Миронова на коммунистическом коридоре старался помочь Миронову всячески ориентироваться в тюремной обстановке.

Может быть, Миронов сумел внушить Пантелееву—этому типичному дюжему красавцу, лихому пьянице, скандалисту, резкому и беспардонному даже в трезвом виде,—уважение к себе? Хотя это было не так легко, так как Пантелеев был деспотичен, груб, держал себя на коридоре как царек, требуя не только признания своей силы от окружающих, но и преклонения перед ней.

Каким-то образом умудрялся он изредка добывать спирт и, напившись, буянил—а иногда, опуская большую голову на стол, пьяный, дико рыдал.

Что жило в душе Пантелеева—кто знал;—говорили, что незадолго до ареста умерла его жена!

Был ли он в самом деле некультурным, примитивным, каким казался или хотел казаться, либо наоборот? Во всяком случае, Пантелеев был колоритен и строго закончен, как определенный, безусловно интересный тип.

Пришла, наконец, в тюрьму с очередной партией Наташа Миронова. Ее сначала поместили на «карантинном корпусе», но к вечеру, после хлопот Пантелеева,

с необычайной силой проявлявшего свое сочувствие горю Миронова, она была переведена в женский околодок (восьмой коридор), помещающийся над «коммунистическим», где находился Миронов. Муж и жена стали тотчас беседовать через открытые окна—а вечером Наташа была вызвана в качестве «актрисы» на репетицию на коридоре, где помещалась сцена и жил ее муж.

Свидание было трогательным—Наташа бросилась к мужу в об'ятия, и оба заговорили, перебивая друг друга.

Миронов в тот же вечер познакомил Наташу с Пантелеевым, предложившим ей свою дружбу в таких безукоризненных выражениях, что не было абсолютно поводов подозревать за его словами иное содержание или замысел.

Наташа, бледная, пухлая блондинка, с тоненьким голоском и светлыми глазами, была беззаботна, весела; она так мило щебетала, эта маленькая женщина... Она нежно ворковала с мужем, а он ласково называл ее самыми уменьшительными именами—и оба, как будто, были счастливы.

Миронов страстно мечтал о том, как на свободе будет хранить Наташу—любить ее.

Но она ведь не пошла бы за ним—ей, типичной дочери большого города, нужен был шум улицы, гудки автомобилей, жгучие, не мужнины, ласки.

Миронов, честный и прямой, видел в Наташе капризного, больного, дорогого ему ребенка, над которым ему хотелось работать...

Пантелеев, между тем, подолгу, настойчиво и дерзко смотрел на Наташу — ее смущал этот

гигант атлетического сложения. Может быть, в ней заговорил инстинкт женщины, потянувшейся к новому мужчине, потому что уже через несколько дней после прихода ее в тюрьму Пантелеев целовал Наташу, поджидая и высматривая на лестнице—бесстыдно, смело и страстно.

Он уверял ее в своей внезапно вспыхнувшей любви к ней, бешено душил в своих об'ятиях и требовал от нее ласки.

Она смущенно стремилась уйти от него и... смеялась.

Кто-то подсмотрел их случайную встречу в сумерках на коридоре, и поползла по тюрьме сплетня.

Не знал ничего один Миронов, живший теперь не ожиданием надвигавшегося суда, имевшего для него огромное значение, ибо мог он и хотел реабилитировать себя, а одними минутами встреч с Наташей.

Шли дни, все увереннее и наглее становился Пантелеев, все меньше и меньше сопротивлялась ему Наташа.

Она так же жадно, как и он, целовала его и все больше и больше сама хотела отдаться во власть его бурной страсти.

Пантелеев неожиданно перевелся в одиночный корпус—на это Миронов не обратил внимания, но в тюрьме поняли, что Наташа получила возможность ходить в гости к Пантелееву, где уже никто не сможет помешать им...

Пантелеев имел право хождения по коридорам и дворам днем и ночью, поэтому ему одному приходилось

провожать Наташу, после репетиций, поздним вечером в «околотке».

Вместо «околотка» он уводил ее к себе в одиночку, где оставались они вместе до поздней ночи.

Началась безудержная связь Пантелеева с Наташей: оба были во власти своего страстного притяжения друг к другу.

Наташа нашла своего самца...

Один муж ничего не знал; в тюрьме знали истину, но Миронова щадили, ибо приближался суд. Миронову нужно было сохранить силы для борьбы на суде за свою свободу. Все же, под конец кто-то написал анонимку о Наташе.

Миронов забеспокоился, показал жене написанное, попросив об'яснений, но она так естественно засмеялась, так легко сумела его успокоить...

Потянулись дни суда. Миронов с Наташей только поздно ночью возвращались в тюрьму—оба утомленные, измученные. Наташа как будто уходила к «себе», а на своем коридоре долго еще беспокойный метался Миронов. Его стала мучить ревность к Наташе—он не узнавал ее. Смущала ее нервная напряженность, вечная торопливость, сдержанность в ласковых словах... Вопрос о приговоре суда над Мироновым, до прихода Наташи в тюрьму имевший для него такое первостепенное значение, теперь как будто отодвинулся на задний план.

Все его интересы, все помыслы сосредоточились на одной Наташе.

В глубине души, может быть, он и сознавал, что так дальше нельзя, но тюрьма убила в нем способность к сопротивлению.

Однажды, ночью, после возвращения из суда, Миронов, угнетенный своим неверием к Наташе, нарушив все правила тюрьмы, пришел в околоток и упросил надзирательницу вызвать к нему на несколько минут Наташу. Ее не оказалось на койке.

После дней, когда решалась судьба ее и мужа, она ночи отдавала Пантелееву.

И на этот раз сумела Наташа найти об'яснения своему исчезновению из околотка в три часа ночи: внезапно заболела и вышла к дежурной сестре в приемный покой.

Суд вынес свой приговор. В последнем своем двухчасовом слове Миронов, как передавали в тюрьме, был исключительно ярок и убедителен. Его условно освободили, но Наташу приговорили к трехлетнему тюремному заключению.

На волю Миронов мог уйти только из тюрьмы, куда его вернули под конвоем из зала суда. Вслед за ним должен был быть прислан и ордер на «освобождение» с копией приговора. Обычно проходило три-четыре дня на эту процедуру, но Миронов рад был этой проволочке; он рассчитывал эти дни провести с Наташей—свои последние дни в тюрьме.

На этот раз ордер на свободу пришел исключительно быстро—на другой день бумажка уже попала в тюремную контору.

— На свободу, Миронов!—весело закричал ему надзиратель.

От этой вести заключенные приходили в безумную радость.

Но озабоченный, опечаленный Миронов вместе с надзирателем отправился в контору хлопотать об оставлении его в тюрьме еще на один день.

Комендант сурово отказал, не удивившись просьбе, ибо в тюрьме привыкли ко всяким чудачествам заключенных относиться спокойно. Вернувшись на коридор, Миронов угрюмо и решительно заявил:

— Не пойду сегодня ни за что, уйду только завтра!

Дважды присылали за ним из конторы надзирателей, но Миронов на свободу не шел. На коридор тогда явился сам комендант и категорически потребовал от Миронова оставить тюрьму и уйти на свободу.

— Свободных тюрьма не имеет права задерживать, —формулировал он кратко,—а если не пойдете,— добавил комендант,—выволокут силой!

Миронов, подавленный, убитый, собрал вещи, попрощался с товарищами по камере, сухо поклонился Пантелееву, в продолжение всех сборов Миронова остававшемуся возле него, и вышел.

Комендант, следовавший по пятам, не разрешил свиданья с Наташей.

— Вы придете в обычный понедельник, день свиданий, к ней, как вольный гражданин,—пошутил комендант.

С уходом Миронова Пантелеев и Наташа стали жить как муж и жена, не скрывая больше своих отношений.

Да они ведь и раньше не были секретом ни для кого из заключенных, кроме Миронова.

Никем и ничем не стесненная Наташа целиком отдалась своей дикой страсти к Пантелееву...

Все же не забывала аккуратно отвечать на письма мужа, заверяя его в своей пламенной к нему преданности и любви.

Кто знает, как бы все это кончилось, если бы внезапная «поверка» ночью комендантом тюрьмы не обнаружила любовников в камере Пантелеева.

Наташа была отправлена в женскую Новинскую тюрьму, а Пантелеев в ту же ночь был заперт в карцер на 10 дней, лишен всех льгот, устранен от работы в тюремной конторе и переведен на общее положение.

Пантелеев сразу был таким образом сброшен с высот, на которые взобрался в тюрьме после шести месячного в ней пребывания, на землю. Он всю ночь рвал дверь в одиночке, громко кричал в глазок что-то надзирателям, ругался, грозил расправиться со всеми за свое унижение...

Кончилось его счастье...

* * *

Поздним вечером прибыли в тюрьму эти двое заключенных.

Об их приходе стало известно на коридорах через пять минут после появления Канова и Безменкина в тюремной конторе.

Напряженный интерес к новичкам в период их пребывания в тюрьме об'яснялся просто. Оба были представителями следственных органов. Канов—старший военный следователь, а Безменкин—начальник следственной части областного трибунала.

В Бутырской тюрьме были заключенные, прошедшие через их руки в дни их деятельности на воле.

Можно было ожидать поэтому враждебных вспышек в отношении к ним, если бы они были помещены в камерах на так называемых «общих основаниях».

Обоих поместили поэтому в особых условиях (изолировав от общения с тюремными жителями), на третьем этаже мужского одиночного корпуса—в двух смежных одиночках.

Еще в тюремной конторе они обратили на себя внимание администрации абсолютным равнодушием ко всему. Они стремились как-то неслышно пройти в свой угол. Казалось, обоих не пугала нисколько перспектива очутиться с глазу на глаз, лицом к лицу со своими бывшими «клиентами». Оба поглощены были какой-то своей идеей.

Им было совсем не до окружающих—словно все кругом казалось мелочью по сравнению с тем, что занимало их мысли.

Нездоровый блеск глаз Канова, болезненные подергивания лица Безменкина и ищущие подозритель-

ные взгляды, характерные для обоих,—говорили о страдании, изо всех сил скрываемом.

Канов—молодой блондин, с маленькими усиками, выпуклым лбом и светлыми глазами; крутой подбородок выдавал характер, упрямую волю,—а весь он какой-то крепкий, жилистый, хорошо сложенный, давал впечатление силы—спокойной, свободной и независимой.

Безменкин—маленький, в темных очках, скрывавших грустные глаза, мягким приветливым говорком и слабым пожатием женской руки вызывал к себе симпатию.

Чувствовалось, что из них двух сильнейший — первый, в котором угадывались, в противоположность душевной трогательности второго, напор, мощь и дерзость.

Оба такие разные, противоположные. Обвинялись в тяжких преступлениях, грозивших смертью; от нее их спасло помилование: смерть заменили пятью годами заключения, и этот срок предстояло им отбыть в Бутырках.

Странные квартиранты сразу глухо замкнулись. Видно было, что они боялись нескромных вопросов и ненужных любезностей в отношении к себе со стороны своих соседей.

Их предоставили самим себе.

Известно было, что Канов и Безменкин были друзьями. На воле первый, в качестве квартиранта, жил у Безменкина—своего непосредственного начальника по службе. Они тесно переплелись между собой не только служебными и материальными интересами—но

и иной, более жуткой связью: любовью к одной женщине,—к Нине, жене Безменкина.

Любила ли Канова Нина или нет—этого точно муж до тюрьмы не знал. На воле он даже поощрял дружбу Нины со своим закадычным приятелем, особенно после того, как, под впечатлением доходивших до него сообщений о связи между обоими, ревниво выслеживал их и, ничего не открыв, успокоился. Истина тогда осталась для него скрытой: любовники были настороже. Нина сумела взять на узду свою дикую страсть к Канову и, окружив мужа теплой внимательной лаской, усыпила его подозрительность.

Мог ли он ей не верить?

Это было бы чудовищным для его сознания.

В первые же недели после ареста (это случилось за три месяца до его прихода в Бутырки) мысль об измене Нины упорно преследовала Безменкина. Ибо только в тюрьме ему раскрылся полнее характер приятеля, только за решоткой яснее выявился авантюризм Канова, связанный со стремлением к бродяжничеству и беззастенчивой смелостью, опрокидывающей все на своем пути. Он был чуток, нервен и загадочно интересен; в нем было так много волнующего женщину, что нетрудно было понять секрет притяжения к нему Нины.

Безменкин именно в тюрьме отчетливо это ощутил и заволновался. А Канов ни единым словом не выдавал правды своему приятелю. Может быть, мытарства, доводившие того нередко до состояния умоисступления, продолжались бы долго, если бы не случай.

Произошло это в один из дней, когда решался вопрос о помиловании обоих.

Тайное неожиданно стало явным. Женщина, разносившая по коридорам передачи заключенным от родных, умышленно или нечаянно—кто знает?—принесла корзину с едой и бельем, направленную Канову, в камеру к его соседу Безменкину.

Нервно, порывисто, как всегда, когда получал передачи от Нины, раскрыл он ее, нашел сначала свое белье, потом еду и, наконец, записку Нины со словами горячей, пламенной любви, обращенной к Канову. Горечь, мука, страдание за любимого были на этом коротеньком клочке бумаги. Еще и еще вчитывался он в эти ласковые слова; жутко испугавшись, упал на койку, кусал бешено себе руки, стараясь заглушить прорывающиеся вопли, чтобы не услышал их Канов в одиночке...

Поднялся железный занавес, закрывавший его сознание от ужаса простой и ясной действительности.

Вспомнил, как однажды подсмотрел из окна тюрьмы свою жену в «очереди» по передачам.

Это было впечатление короткое, яркое, по силе своей подобное толчку от удара тока.

Нина стояла сгорбившись, в платке, небрежно наброшенном на голову, в том самом, который был так хорошо знаком ее мужу.

Безменкину хотелось дико кричать, чтобы услышала вопль, а в своем вопле передать всю мучительную к ней нежность.

«Бедная, любимая, усталая!—думал он тогда.—А теперь...»

Что написал своей жене, о чем говорил потом с Кановым?

Внешне их отношение оставалось такими, как если бы ничего не случилось.

Еще задолго до того, как записка Нины к Канову попала к мужу, Канов нетерпеливо расспрашивал его о содержании записок Нины, присылавшихся Безменкину, но сам Канов никогда не показывал соседу ни одной из записок, прибывавших к нему, вероятно, тоже от Нины.

Безменкин умолк—по целым дням оставался он на своей койке, уклоняясь от бесед с Кановым, после случая с попавшей к нему запиской Нины.

Он уже не волновался больше за себя в противоположность Канову.

Тот шагал по камере почти круглые сутки, разрешая задачу: «помилуют или нет».

Вина их была велика—оба получили и разделили миллионную взятку за смягчение улик против ими же в дальнейшем освобожденного от наказания крупного государственного хищника. Оба были пойманы на месте преступления и, сознавая свою ответственность, сравнительно спокойно приняли в суде свой тяжкий приговор.

Правда, смутные слухи носились в тюрьме о странной роли Канова: передавали, что он явился инициатором преступления, сыграв роль злого гения для мужа Нины в истории со взяткой. В зале суда Безменкин

мужественно и спокойно признал свое преступление: он ни на кого не пытался переложить свою вину; не оправдывался—через головы судей куда-то вовне говорил о своем грехе. Было ясно, что неизбежен смертный приговор, и поэтому чисто по-деловому выслушали они его от судей.

ВЦИК освободил их от жуткого страха смерти.

Кто знает, как прошли бы они через свои дни ожидания помилования, если бы не Нина? Это она заставила обоих забыть о человеческом страхе перед смертью; оба думали о ней, а не о том, что могут уйти из жизни.

В последние дни, предшествовавшие помилованию, Безменкин терзался мыслью:

«А вдруг помилуют его, не меня... он войдет в мой дом, назовет Нину своей женой, когда отсидит свой срок, а я погибну. Я начальник, моя ответственность перед законом значительнее. Он богаче шансами на сохранение жизни».

Безменкин знал, что Нина хлопочет где-то.

Для него перестало уже быть это ценным, после злополучной истории с запиской, ибо ведь не о нем одном тосковала Нина. «Может быть, только любовь к Канову вдохновляла ее на ту огромную работу, которую она проделывала в своем непобедимом стремлении спасти жизнь Канову и уже по инерции и мне»,—думал Безменкин.

Чего стоили ему эти бредовые идеи?

Он днем и ночью оставался во власти своих кошмаров.

Каждый в своей одиночке по утрам задавался мыслью о грядущем дне; затаив дыхание, прислушивались к мельчайшему звуку извне—не несут ли им из тюремной конторы добрую весть о помиловании, а если нет—если худую, если ждет в самом деле смерть,—то обоих ли?

Если не обоих—то кого? Чьей будет Нина, кто еще увидит голубое небо, узнает одуряющее, после неволи, счастье свободы?

Безменкин стал галлюцинировать — его посещали ночью образы, созданные больной фантазией.

Редко, редко,—внезапно успокоившись, подходил к окну—и в ночной темноте, когда спала вся тюрьма неспокойным сном, шептал нежные, полные затаенной, жуткой горечи, слова любви и призывы Нине.

Может быть, их слышал Канов, ибо бывали дни, когда он, мрачный, подавленный, с огромными кругами под глазами, жаловался на мучившую его бессонницу. Не все ли равно было Безменкину, слышит ли его кто-либо или нет в ночную пору?

Каждый день первым побуждением Канова на рассвете, когда еще не просыпалась тюрьма, было постучать соседу в стенку.

Не убрали ли? не увезли ли ночью?

Успокаивался, когда слышал ответный, слабый стук.

Тягостно было Безменкину в своей камере, но он сурово молчал, коротко отвечая на быстрые, нетерпеливые вопросы любовника Нины. Он, не желая разговаривать с ним, со своими мыслями о Нине оставался

один. Для Безменкина умерло все человеческое в Канове—ведь Канов лгал вместе с Ниной.

Никакая сила не могла примирить Безменкина с ним.

Скорее бы пробежали дни неизвестности.—Упорно думал Канов свое:

«Я или он? Оба ли вместе?»

Случилось как-то так, что в эти тяжкие дни Безменкин был вызван в тюремную контору. Он долго не возвращался оттуда.

Взволновавшийся вызовом товарища, Канов вначале крепился, но, наконец, не выдержав нервного напряжения, забился в истерике.

— Где? почему его забрали?—вопил он.

— Сейчас сосед придет,—говорили ему.

— А меня, меня?—настойчиво допрашивал Канов:—и меня тоже вызовут вниз? И меня увезут?

Им овладело грозное предчувствие смерти—он метался, плакал, рвал дверь. Тогда Безменкина спешно вернули в камеру.

— Ты пришел! Где ты был? Отвечай!—кричал Канов.

Безменкин глухо молчал—он понимал причины его тревоги.

Безмолвие Безменкина не давало покоя Канову. Ему надо было услышать голос мужа Нины во что бы то ни стало, чтобы убедиться, что именно он в камере; боялся обмана со стороны коменданта, могущего подсадить ему, вместо Безменкина, другого заключенного.

— Пощади, откликнись—ведь я о тебе беспокоюсь!—лицемерил в отчаянии Канов.

Тот продолжал хранить зловещее молчание.

Прошло еще несколько минут —томительно долгих для Канова.

Он услышал, наконец, несколько слов в ответ, устало брошенных из-за стены.

* * *

Помиловали Канова и Безменкина. Из Таганской тюрьмы они переведены были в Бутырки. Накануне перевода Безменкин говорил Канову: «Я читаю в твоем сердце, как в раскрытой книге; я все знаю, хотя словно спал несколько лет. Это был кошмар,—но теперь я снова возвращаюсь к жизни. Нину любил огромной любовью; вне ее у меня не было и нет ничего. Ты отравил ее. Я брошен в тюрьму, как преступник!— Вчера судья, а сегодня враг республики. Знаю, что придет день, когда буду на воле, но как буду жить— не знаю. Заставлю себя жить, буду хотеть жить! Что со мной произошло и, как вихрь, смяло мою жизнь— повторяю—не знаю! Понимаешь ли, что мы с тобой сделали, как скатились вниз—от боевой страды на фронте до взятки здесь? Для Нины ведь оба бессознательно совершили мы это гнусное преступление. Оставь меня—напиши Нине, что мне не нужны ее передачи, что освобождаю ее от себя и забот о себе навсегда. Так будет для нас лучше!».

Безменкин был сух, спокоен и тверд.

Канов молчал.

Ему грезились белые мраморные плечи Нины.

* * *

Совсем чужими пришли они после этого в Бутырки, где увидел я их впервые.

Отрывок восемнадцатый.

Мне хочется рассказать о самом крупном интеллектуальном празднике тюрьмы—о спектаклях.

Спектакли являлись событием, так как выявляли с определенной полнотой темп и размах культурной жизни тюрьмы. Спектакли играли роль отдушины, в которую прорывалась потребность заключенных в крупном духовном интересе. Тюрьма была ими бедна. Но характерно, что самое активное и напряженное участие в организации этих спектаклей, помимо заключенных, принимали и служащие тюрьмы, в большинстве случаев, к слову сказать, скомплектованные из рабочих фабрик и заводов. Они с таким радушием, с такой готовностью и с таким ярко выраженным сочувствием хлопотали, суетились, бегали, таскали мебель на сцену, проделывая все вплоть до простой грубой работы, сливаясь в своих настроениях целиком в одно с заключенными тюрьмы.

Тюремные спектакли они предпочитали спектаклям в городских театрах—ибо, помимо специфического интереса к своим актерам-заключенным, определявшим их добродушное отношение к спектаклю, было еще и другое. Ведь каждый из служащих тюрьмы—от дежурного коменданта до передатчицы—выступал в роли «меценатов» тюремного искусства, получая

какое-то внутреннее удовлетворение от своего покровительства.

Нам, заключенным, это было только на руку, и мы охотно развивали в них это невинное тщеславие и соревнование. Где бы еще «корпусному старшему» представлялась возможность быть попечителем над искусством? Лестно и приятно.

Непонятным было, как при отсутствии красок, холста, грима, бутафорских принадлежностей и всего прочего, что так необходимо было в процессе построения спектаклей, все-таки создавались зрелища на тюремном коридоре. Энтузиазм, горячность в работе, заражая всех, играли в этом не последнюю роль. О приготовлениях к спектаклю обыкновенно знала задолго до постановки вся тюрьма. Участники забрасывались вопросами о начале «премьеры». Лихорадочно ожидался в тюрьме этот день. В столярных мастерских готовили кустарную мебель; художники (арестованные) делали макеты декораций; инженеры исполняли работы плотников, стучали, приколачивали. Все делалось споро и быстро, получался образец какого-то, совершенно своеобразного, соборного творчества, в котором гармонически развивались все его элементы. Часто думалось, что, если бы такой порыв об'единял на воле в большом любом театре, имеющем почтенную седую давность, работающих в нем от малого артиста до большого режиссера, то мы имели бы, пожалуй, образец редкого радостного творчества, в котором были бы легко достигнуты вершины. Вся тюрьма, все 2 тыс. жителей стремились обычно попасть на спек-

такль в узкий тринадцатый коридор, чтобы жадно наблюдать игру артистов, своих же заключенных. Но в коридоре, однако, могло поместиться не больше 400 человек. Отсюда и рождались бурные волнения на почве борьбы за распределение билетов. Было похоже на то, что происходило при продаже билетов на гастроли выдающихся артистов современности. Шутка ли сказать! Сам комендант приходил на спектакль со своими помощниками, а за ними и их жены. Однако, это обстоятельство ни в коей мере не мешало ни зрителям, ни актерам, а придавало спектаклям значительность и волновало хорошим волнением игравших.

Замечательно, что после концертов гастролеров из города, пожаловавших в тюрьму на Рождестве и выступавших с разнообразной вокальной программой на коридоре, заключенные с большим неудовольствием отзывались о не своих «всамделишних» актерах.

Свои глубоко уважались и ценились за тот под'ем, то горение, тот неподдельный восторг, который вносился ими в игру, а «городские» не учуяли в свой короткий, шумный приезд духа тюрьмы.

Они недооценили тонкого вкуса тюремного жителя, предпочитавшего своего кустарного, но искреннего актера вольному профессионалу.

В тюрьме создавался таким образом свой патриотизм.

Группа работавших на сцене сплачивалась все теснее, несмотря на «внутрипартийные» склоки, являвшиеся неизбежным следствием человеческого.

Об'единяясь, дошли каким-то путем до необходимости выковать идеологию актеров-заключенных, оторванных от воли, но плотно, по-своему, спаянных с искусством.

Любовь к сцене была огромной, болезненной. В этой любви замыкалось все живое, что оставалось в душах. Вся творческая энергия, вся напряженность мозга уходила в искусство. Тут была оригинальность, было стремление оторваться от образцов, от шаблона, которым жили и дышали до своего прихода в тюрьму, ибо актеры тюремные, к счастью, не были в своей подавляющей массе профессионалами. Они были всего лишь маленькими человеками и не делались больше оттого, что приходили в тюрьму. Процент ярких среди них был такой же незначительный, как и на воле, но вместе с тем общий их уровень в силу каких-то законов, мне совершенно непонятных, был много глубже, любопытнее и раскрывал моментами какое-то таинственное озарение людей, сдавленных в клетке и прорывающих гнет ее творческими усилиями, им незнакомыми на свободе.

Принцип искусства так, как каждый раньше понимал и чувствовал его на воле, был отброшен как основа театральной работы в тюрьме. Шли в поисках театральной формы, повинуясь какому-то инстинкту, вначале жадно требовали новых пьес с воли, браковали все то, что могло прослыть ценным на воле. Поневоле прибегали к «старому». Ставили «Гибель Надежды», но в ее отображение на сцене вносили такую страсть, такую неизбывную тоску, такую безумную

боль и надрыв, что делалось жутко. Это не было ярко, художественно, но это было верно и понятно постольку, поскольку отражало настроение 2 тыс. жителей тюрьмы.

У нас также не было репертуара, как не было его и на воле. Мы не могли найти авторов, ибо попадали в заключение композиторы, музыканты, певцы, герои, резонеры; драматургов же судьба нам в подмогу не посылала.

Культпросвет коммунистического коридора задумывался над вопросом о необходимости постановки революционных пьес, но кроме Ролландовского «Дантона» у нас ничего не было под рукой. Монументальные Шекспир и Шиллер пугали своими размерами—вдобавок смущали нас затруднениями с декорациями. Писать бы еще можно было, но остро стоял вопрос с холстом и красками. Мы довольно скоро от натурализма перешли к символическим постановкам—можно было надеяться крепко на богатое воображение заключенных-зрителей. Хуже обстояло дело с мебелью—несколько скамеек и кресел из тюремной конторы—это было все. Невелик был выбор париков, грима, костюмов. Но, несмотря на все эти затруднения, с честью выходили из самых трудных положений. От «Гибели Надежды», где довольно остроумно справились с 3-м актом, дав зрителям бурю во всей ее жути и сценическом правдоподобии, смело перешли на «Дни нашей жизни».

Привлекала эта пьеса интерес заключенных благодаря ее психологии, индивидуализму Онуфрия, быту, Оль-Оль.

Любовно были сделаны и показаны «Дни нашей жизни». «Дни»—понравились тюремной публике и привлекли к себе надолго симпатии зрителей рядом удачно разрешенных сценических положений.

В тюрьме, где появился по существу обыватель с воли, научались понимать красоту искусства.

В тюрьму густо повалил обыватель, быстро ориентировавшийся в тюремной обстановке и к ней приспособлявшийся.

Ему чужды были героические страсти, пафос, надрыв—ему достаточно было посмотреть Оль-Оль на сцене.

Сентиментальный, разведенный водичкой романтизм был ближе его душе.

Тускло проходил Чехов со своими «Медведем» и «Предложением», легко принимался аудиторией Гордин и другие авторы с мелодраматическим оттенком, жадно впитывался «Потоп», где заключительный финал 2-го акта проходил при сдавленном плаче 400 зрителей, набивавших сверху до низу коридор. Отсюда и рождались бурные волнения. На огромной железной решотке, перед выходом из коридора на лестницу, висели, как гроздья винограда, зрители, и блеск их расширенных глаз при тусклом свете электрических лампочек говорил много. Казалось, что с воем Чарли из «Потопа» сольется в одно страх тесно сплотившихся в груду людей. Ужас смерти, четко переданный в этом моменте в «Потопе», с страшной силой воспринимался заключенными, ибо в самой

атмосфере тюрьмы, в самом ее воздухе жил этот страх. Тюрьме нужен был репертуар театров, питавшихся произведениями Эдгара По и других мастеров художественного цеха, создавших шедевры в области ощущений смерти.

Независимо от содержания показывавшихся пьес спектакли обновляли заключенных.

Обычно спектакли происходили по воскресеньям и в праздничные дни.

После них легче жилось в будни, так как на очереди были новые спектакли, значит и новые ощущения.

Среди заключенных были и рабочие, которые на воле подолгу не бывали в театре; и они-то непосредственной наивностью и детским восторгом своим вызывали удовлетворение и ощущение счастья у актеров. Пусть то, что мы делали, было суррогатом искусства, пусть это все было «не то», пусть не воспитывало, а отводило от понимания настоящего в искусстве; но это было живое,—звало к жизни, напоминало о ней, было каким-то благовестом о возвращении на волю, рождало стремление к большому театру, сближало бесконечно между собой сидевших в камере, роднило их, очеловечивало; кровь усиленнее приливала к сердцу. Спектакли были чем-то бо́льшим, чем свидания, передачи, чем случайные вылазки в город. Поэтому работали, не покладая рук, никем не подгоняемые актеры.

Кроме драматических актеров, были еще музыканты, певцы.

По своей инициативе они выписывали скрипки, ноты, днями на репетициях разучивали партии, дуэты, квартеты, затрачивая массу энергии. Работали столько, сколько никогда и ни при каких условиях не работали вне тюрьмы. Мне не забыть, каким чудесным явлением было, например, создание хора из 50-ти заключенных, исполнявших сложнейшие музыкальные вещи. Это было буквально виртуозно, законченно и совершенно. А между тем, большинство хористов ранее не имело представления не только о том, как надо петь, но даже и о том, что они являются обладателями крепких, сочных голосов. Не нужно было много работать над тем, чтобы развить в них этот голос, «поставить» его, как принято говорить; эту постановку, этот дар дала им природа; она наделила их вокальными возможностями. Было еще одно, что делало их пение таким выдающимся. Хором исполнялись, главным образом, русские песни. И тоски было так много в исполнении, что она заливала сердце, как огромная волна в прибой заливает берег.

Только что закончив работы в мастерских, хористы бежали на репетиции и готовы были петь до полуночи и дальше, не зная усталости.

Руководил хором заключенный, талантливый музыкант с хорошим слухом и хорошо поставленным голосом—басом. Он зарывался целиком в это, не имеющее пределов, стремление к работе: пел, руководил, репетировал, целыми ночами на кустарной нотной бумаге выписывал партии для баритонов, теноров, басов, разучивая с каждым из них в отдельности пар-

тии и делая чудеса с сырым, необработанным материалом. В 2—3 репетиции с хором, усваивавшим мелодию только по слуху, заканчивал разучивание сложнейших вокальных номеров. Хор был гордостью в творческих достижениях тюрьмы, а солисты его могли быть певцами на сцене настоящего театра. Казалось, что, выпустив этот хор на несколько вечеров за пределы тюрьмы, удивишь самых взыскательных и требовательных слушателей спайкой хора, красотой и гармоничностью исполнения. Работа хора шла успешно, несмотря на то, что состав вокальных работников сцены часто менялся. Одних отправляли в лагери, других—в тюрьмы для срочных, или на смерть, третьих—выпускали на волю. Взамен уходивших прибывали новые басы, альты, тенора; они пели, втягиваясь в работу, увлекаясь, горя как прежние, и стройность хора не нарушалась.

Помню отчетливо, как проходили обычно концерты заключенных. Программа вырабатывалась по вдохновению—буквально в течение получаса. Главный режиссер никогда не спрашивал согласия у тюремных артистов, а властно распоряжался. Моя диктатура (я был режиссером) на сцене была принята. И несмотря на то, что требовалась особая универсальность и дисциплина для выполнения всех заданий, у заключенных находилось и то и другое. Хорошо, что не интеллигенция определяла состав исполнителей. Нет: она и в тюрьме оставалась расхлябанной, беспочвенной, как и на воле; она и в сценическую работу вносила свой скептицизм, свое безмолвие и мертвенность. «Рабочий» класс был

преобладающим в массе работников искусства в тюремном театре. Партийные интеллигенты (не коммунисты) сторонились театра только потому, что он помещался на 13-м—коммунистическом—коридоре, а внепартийная интеллигенция в тюрьме была спекулятивного происхождения. Она приходила в тюрьму по обвинению в растрате, в хищениях с государственных складов, в злоупотреблениях своим служебным положением и т. д. Все они были какие-то смятенные, ненормальные, всегда были в помыслах о своих маленьких делах. Казалась непонятной их странная индифферентность ко всему окружающему, и к внешнему в особенности; словно жизнь для них кончилась с приходом в тюрьму. Одна маленькая идейка преобладала в их ежедневном обиходе: как бы получше устроиться, поближе друг к другу, в однородной по составу камере, регулярно получая передачу.

В тюрьме находились, между прочим, и венгерские офицеры, а среди них два, известных на родине, художника. Лишенные передач, они добывали себе заработок, рисуя портреты по заказу заключенных. Интеллигенты-«спекулянты» были у них самыми щедрыми заказчиками. Свои портреты они пересылали на волю к родным, разумеется, со скорбным выражением на лице, с печалью и грустью. Свои настроения стремились изо всех сил выявить, нагрузить ими близких, давить своими ощущениями и требованиями о применении всех мер, ведущих к освобождению из тюрьмы. Жалка была их доля, и, несмотря на свою убогость, они издевались, насмехались над работавшими на сцене, занимаясь кри-

тикой, закрывая глаза на то огромное, здоровое, настоящее, что было в работе актеров. Если бы интеллигенты были привлечены к работе,—они этого втайне желали,—то быстро внесли бы в работу разлагающее влияние, какое вносили в тюремный быт. Они уничтожили бы весь смысл дела, воспитали бы недовольство самими собой в актерах и, может быть, в конечном итоге ликвидировали бы все это своеобразное творчество.

От них отшатывались актеры; спектакли шли вне их участия.

Спектакли завоевывали себе, в конце концов, признание не только на тюремных коридорах, но и за пределами тюрьмы—в клубе служащих.

Актеры сделались наиболее привилегированным сословием в тюрьме.

Служение искусству давало им отличие, какого не было у других заключенных.

Все актеры имели «неофициальное» право на пшенную кашу с маслом из кухни, где готовился обед для следователей и тюремной администрации.

Кроме того, кухня в лице своих служителей-заключенных поддерживала неимеющих передачи актеров мясом, рыбой, маслом и хлебом.

Это была уже не шутка. В сапожных и портновских мастерских чинили платье и обувь в кредит. Нечего и говорить о том расположении, каким пользовались актеры у «дам», работавших на механической прачечной.

Бесплатно и вне всякой очереди стиралось «актерское» белье.

Наконец, сама администрация смотрела сквозь пальцы на все шалости «лицедеев», неограниченно расхаживавших по тюрьме.

Одним словом, актеру в тюрьме было много легче жить.

Они не замечали тягот тюрьмы; время проходило в напряженной работе, а под'ем и вдохновенье раздвигали стены тюрьмы и давали им иллюзию свободы.

Отрывок девятнадцатый.

Снова о тюрьме—на этот раз о передачах.

Как много воспоминаний связано у сидевших в тюрьме с этим словом. В нем была какая-то большая звуковая ценность для заключенного, помимо смысла, в него вложенного. Что из себя представляли «передачи»? Они делались три раза в неделю, и смысл их заключался, главным образом, не в пище, которая пересылалась родными в тюрьму для заключенных, а в записочках, в маленьком клочке бумажки, приложенном к посылке. Вот эти-то несколько ожидавшихся с передачей слов вызывали такую массу нервной тоски.

Это они приносили те или иные вести с воли, являясь единственной, по существу, связью с женами, с детьми, с домом, с волей. Так как заключенным формально запрещалось писать при передаче, то нужно было проявить массу находчивости, чтобы умудриться написать на крошечном кусочке бумаги все нужное. Заключенным—в ответ на записки, получаемые с воли, приходилось измышлять массу остроумнейших фокусов; нельзя было не пожалеть о непроизводительной огромной затрате нервной энергии.

В пределах дозволенного писалось несколько строк, а настоящее, что надо было скрыть от чужого глаза, вшивалось заключенными в воротник белья, пиджака,

куртки, пересылалось в корзине со вторым дном, с двойными стенками, в термосах, в бутылках с молоком, в хлебе, в середину которого запекалась бумажка, и д. т. Записки писались химическим карандашем, зачастую условными знаками, иногда—на газете.

На ней, по предварительному сговору с родными, заключенные легкими штрихами карандаша подчеркивали по букве буквы в тексте, а комбинация этих букв давала нужную фразу. Можно себе представить, как трудна была работа по составлению такого манускрипта, как бесконечно кропотлива и как много поглощала времени; но у заключенных часов было больше, чем достаточно—все 24 в сутки.

Таким же путем мы учили и родных пересылать письма в тюрьму.

Когда мы получали передачи, таинственно манипулировали, ощупывали платья, искали в бумагах, тщательно разглядывали каждое слово, ибо в нем—в этом слове—был весь смысл передачи, все оправдание ожиданию нашему.

В дни передач тоскливо провожали глазами уходившую из коридора девушку, уносившую корзинку с секретом.

Ведь ее посвятить в тайну нельзя—не рискнет передать: побоится наказания.

Гадаешь тревожно—дойдет или не дойдет спрятанная в потайном месте записка. Бесконечно завидуешь девушке, которой дана возможность видеть лица твоих близких. Как часто потом засыпаешь ее нетерпели-

выми вопросами и из ее отрывистых, на ходу брошенных, неточных ответов пытаешься создать образ или впечатление.

Бесполезная попытка, трудная, ненужная!

Сколько все же было этих мудрых способов обмануть тюремную администрацию? Немало, но во все эти способы посвящались каким-то образом служащие—заведущие передачей и их помощники. И они безжалостно кромсали, резали, вспарывали вещи в передаче, были беспощадны в своей работе, вплоть до того, что выливали содержание бутылок с целью проверки, нет ли в жидкости свернутых трубочкой записок; с какой-то исключительной, пунктуальной точностью стремились «пресечь» недозволенное.

Шла ожесточенная борьба между обеими сторонами, и, разумеется, победителями оставались все-таки заключенные, так как наши секреты заведующими передачами узнавались всегда позже.

А когда они становились уже не тайной для них, тогда придумывались нами новые обходы.

Борьба эта, как ни странно, не рождала ненависти друг к другу в борющихся сторонах.

Одни исполняли свой долг, а другие завоевывали себе привилегии.

У девушек, несших обязанности по разноске передач, были свои любимцы среди заключенных; трудно было устоять им зачастую перед выразительными, умоляющими глазами заключенных.

Но так жестока была дисциплина среди «передатчиц», так суровы были кары, выпадавшие на долю пой-

манных с поличным, т.-е. с запиской, что путь передачи писем через милых, симпатичных, освежавших тюремную обстановку девушек был исключен.

Оставалось, как главное средство обхода тюремных скорпионов, одна фантазия стиснутого решоткой человека.

И она работала во-всю, открывая все новые и новые возможности.

Так или иначе в руки родных попадали записки, которые заключенный стремился отослать.

«Порок» оставался ненаказанным и продолжал процветать.

Так было, так и будет.

Отрывок двадцатый.

Следующим по значению за передачами событием тюремной жизни были—свидания. Они происходили обычно по понедельникам и предоставлялись администрацией тюрьмы следственным, когда заканчивалось собрание материалов по «делу». Разрешения на свидания получались от следователя, за которым числился заключенный в тюрьме.

Родные, получив такое разрешение, дававшееся не без значительных усилий, с радостью сообщали об этом в тюрьму заключенным.

Обеими сторонами овладевало нетерпеливое ожидание, достигавшее своего апогея в день свидания. Родственники приходили рано утром в тюремную канцелярию, где становились в очередь. После выполнения формальной процедуры у дежурного коменданта—проникали в узкий проход к решотке, где тревожно, отсчитывая каждую секунду, ждали их мы.

Свидания разделялись на общие—через решотку, проволочную, густую; личные—без решотки; и, наконец, свидания в цейхгаузе за столом.

Все эти три категории свиданий происходили, разумеется, под неослабным наблюдением надзирателей и длились от 10-ти минут до получаса.

Заключенных обычно выводили к решотке партиями по 20 человек в каждой. Мы толпились у решотки, говорили все сразу и создавали впечатление такого гула, как будто ехало несколько грузовых автомобилей по двору тюрьмы. Времени было в распоряжении заключенных мало, сказать надо было так много.

Конечно, начинали с обычных поцелуев, после которых следовали с обеих сторон первые беспорядочные вопросы.

Говорили страстно, стараясь заполнить словами каждую паузу. Мне часто казалось, что ярким и многозначительным могло бы быть скорее молчание при встречах у решоток и короткие, скупые мысли, чем лихорадочная болтовня. Смотреть в глаза близким и думать только о своем,—а слова уводили от настоящего в сторону, ослабляя, в конечном итоге, значение свидания. Этого мало—они возбуждали чувства, совсем не соответствующие переживанию: ненавидели соседей, кричавших над ухом, родственников, старавшихся забросать скорее словами заключенных.

И было все это так убого...

Я казался себе таким жалким, растоптанным и униженным.

Ведь они—эти свидания убивали во мне веру и грезу о свободе. А вести оттуда были, как острые шипы, вонзавшиеся в сердце: так часто погружали они меня в глубокую меланхолию. Я ведь в суровых мечтах выковывал свою будущую судьбу и ставил над собою с молчаливой простотой крест четко и определенно. А приходившие ко мне с воли считали своим долгом

ободрить меня, заражали своим оптимизмом, строившимся на шатких основаниях. Они так старательно, так страстно стремились передать мне радость, что ею трудно было не проникнуться. После их ухода уже через короткое время в моем душевном состоянии наступала реакция: снова овладевала мной обреченность и казались ненужными и нелепыми свидания, разбивавшие привычные формы переживаний.

Даже наоборот.

Пробуждалась такая сердечная жалость к тем, кто приходил ко мне извне, хотелось самому утешать их, а не быть утешенным, себя чувствовал много сильнее их.

Долго глазами провожал уходящих, возвращался наверх в одиночный корпус, в камеру, и оставался во власти какого-то сладкого, глубокого чувства.

Печаль и жуть овладевали мною от мысли о родных, против которых в гневе рвал и метал так несправедливо.

Уж, если нужно судьбе—то пусть я буду жертвой во имя тех, кто, связанный со мною, остался в шквале по ту сторону тюрьмы, думал я.

Было какое-то успокоение в этой мысли о родных.

Так ли чувствовали свидание, как я, другие заключенные или пассивно принимали эту радость, оживляясь на секунду и уходя в свое—тюремное?

Я иногда оставался после своего свидания в цейхгаузе, прятался в углу и оттуда наблюдал, бесконечно страдая, впитывая каждое слово и жест заключенного, свидания соседей моих по камерам.

Старался только, чтобы меня не заметил как маятник шагавший мимо решоток комендант.

Вся трагедия свиданий была в том, что самое главное ускользало, несмотря на то, что задолго до свидания, которого ждали заключенные так жадно, с таким надрывом, думали сказать именно это—самое главное. Большинство дорожило каждой секундой свиданья, а почему-то говорили при встречах с длинными паузами, с перерывами, почему-то подолгу задумывались, не находили слов, а потом в камере слезами обливали белый хлеб, который приносили жены или сестры. Хлеб этот покупался нередко на «последнее» родными и был символом ласки, трепета и нежной заботливости о заключенном.

Были счастливцы, которым разрешались свидания в кабинете начальника тюрьмы.

Это считалось особой удачей, особой милостью, которой родные добивались с трудом. Смысл такого свидания заключался в возможности более непосредственного общения с заключенным. Но радость такого свидания ограничивалась тем, что на нем присутствовал дежурный помощник, и разговор, следовательно, по необходимости, делался полуофициальным и натянутым. Странно было сидеть с женой и говорить ей совсем не то, что нужно было.

Зато не было железной решотки, руки свободно соприкасались и можно было коснуться губами близкого человека. Пусть это было немного искусственно, потому что наблюдали чужие холодные глаза, но та-

кое свидание давало иллюзию близости и было похоже на настоящее свидание—«вольное».

Я думал: как нелепо целыми днями, ночами проводили мы с близкими время и не ценили этого, а сейчас, страдая, считаешь секунды и мечтаешь, как бы подольше тянулось время, как бы не кончилось скоро свидание.

С мольбою поглядываешь на дежурного комиссара, упрашивая его глазами: на несколько секунд продолжить свидание.

Бывали случаи на свиданиях, когда встречавшиеся не узнавали друг друга,—так резко меняла их внешний облик тюрьма. Ведь свидания получались следственными не раньше, как через несколько месяцев после ареста, а такой срок отрыва от родных не мог не оказать своего болезненного влияния на узников.

Бывали и неофициальные, случайные, короткие свидания.

Я вспоминаю, как ухитрился я пробраться в контору, когда знал, что, по предварительному моему соглашению с женой, приходила она туда по какому-нибудь делу. Тогда я писал заранее заявление коменданту о вызове к нему в кабинет и старался угодить к начальству к моменту прихода в контору жены. Говорить с нею не мог, ибо меня сопровождал надзиратель, но все же внимательно и напряженно скрещивался взглядом с женой и этим удовлетворялся.

Возвращался после этого в камеру свою радостный и возбужденный, словно сделал что-то большое, целый день жил после этого коротким настроением под'ема.

Сколько волнений переживали заключенные в ожидании надзирателя с синей запиской о вызове на свидание! Первым вопросом заключенного в этом случае было:

— Личное или общее, с решоткой или без нее?

Вопрос этот был далеко не маленький, ибо свидание в цейхгаузе давало действительную иллюзию беседы с близкими, убивая на короткое мгновение ощущения тюрьмы, всегда давившие сознание заключенных.

Любопытно, что «тюремные» актеры, как привилегированные, получали свидания без решоток—в цейгаузе. Сплошь и рядом мне, как главному режиссеру, в связи с этим приходилось отводить от участия в театре лиц, не имевших никакого отношения к сцене и не обладавших вдобавок ни одним из качеств для приспособления их к работе в театре.

— Зачем вы пришли сюда!—спрашивал я.

— Мы хотели бы работать в театре,—следовал ответ.

— Да, но вы ничего не умеете!

Смущались и тихо роняли:

— Знаете, свидания даются актерам без решоток. А мы что-нибудь будем делать у вас на сцене. Что прикажете—выполним.

Решотки были всюду,—на окнах, у дверей, их хотелось так избегнуть именно на свидании.

Но таков был порядок в тюрьме.

Он был неумолимо строг, и его нарушить было нельзя; так должно было быть и было.

Отрывок двадцать первый.

Я обжился в Бутырской тюрьме: знал все ее закоулки, выходы, входы—изучил быт ее на всех коридорах—во всех его проявлениях. Я привык к своему месту в Бутырках—больше всего боялся перевода в другую тюрьму. А порядок был таков, что в Бутырской тюрьме содержались заключенные только впредь до перечисления их за трибуналом, куда поступал весь следственный материал из Чеки.

Целых три недели удалось мне продержаться после передачи моего дела в трибунал: помогли мои прежние заслуги в культпросвете тюрьмы. Но администрация не могла меня больше задерживать, ибо все мои товарищи по делу были уже из Бутырской отправлены.

Меня перевели, по моей просьбе, не в шумную Таганку, куда я уходил за месяц до своего выхода на свободу, а в одиночку, в Лефортовскую тюрьму. Из Лефортовской был вскоре переведен в Сокольническую, а оттуда в Таганскую.

Таким образом, на мою долю выпала возможность соприкоснуться с жизнью четырех значительных тюрем—но ни в одной из них не вживался так в тюремный быт, как в Бутырской.

Я пришел в Лефортовскую тюрьму поздним вечером; выйдя из Бутырской утром, днем я умудрился

уговорить конвоира разрешить мне свидание с родными.

Беспокоила мысль о новых решотках, стенках, людях.

Наконец, смена режимов такая нелегкая вещь для кочующего заключенного!

Я переходил на новую квартиру после того, как успел крепко привыкнуть к старой—к Бутыркам.

В каждой новой тюрьме возникал вопрос как устроиться, как приспособиться, чтобы легче перенести заключение.

Но на этот раз судьба снова слегка погладила по голове: начальник тюрьмы, оказавшийся в своем служебном кабинете, знал меня по былому «сиденью». Он предложил использовать меня в качестве агента тюрьмы по добыванию в городе строительных материалов для построек и ремонта. Оставалось только поблагодарить начальника, постаравшись скорее осуществить замысел его и оправдать доверие.

Стал терпеливо ждать командировки в город.

Прошло несколько мучительных дней, и, наконец, под солидной охраной, меня откомандировали—по делам тюрьмы. Начались мои хождения в город в роли агента—заключенного тюрьмы, с возвращением на вечер и ночевку в темницу. Елены тогда в Москве не было, это было на четырнадцатом месяце моего заключения.

В городе, в сутолоке и шуме улиц забывал о следующем за мной как тень конвоире, о тюрьме, о необходимости возвращения в нее.

Такой длинной казалась ночь в тюрьме, отделявшая от утра, когда снова выходил за ворота тюрьмы.

Но я присматривался к жизни моей тюрьмы; в ней она шла, как и на воле.

Разве она не была той же во внешних ее проявлениях?

В тюрьме не было и не могло быть общения между заключенными, ибо они размещались по одиночкам, всегда запертым на «два поворота ключа», а строгий «надзор» ревностно исполнял свои обязанности.

Жили узники в камере, ограниченные ее пределами, своими интересами: чтение, сон, прогулка не больше получаса; оживлялись в редкие моменты, когда открывалась дверь для разлива обеденного супа и вечернего чая.

Я был единственным счастливцем в тюрьме.

Уходя по утрам, возвращался вечером и усталый валился на койку; долго не засыпал.

Давили стены, потолок, железные решотки.

«Пойду ли завтра в город»,—вот вопрос, который меня волновал ежедневно, ибо никогда я не мог быть в этом заранее уверенным, несмотря на то, что я необычайно успешно выполнял в городе все поручения тюремной администрации.

Просыпаясь ранним утром, подбегал к железным воротам, примыкавшим к вестибюлю, ведущему из тюремного корпуса во двор, и ждал, одолеваемый сомнениями:

«Придут за мной или нет?»

Быстро и радостно одевался, когда замечал надзирателя с запиской, и через весь двор поспешно бежал к выходу.

«Скорее бы за ворота... А вдруг раздумают и не пустят»...

Едва, едва поспевал за мной надзиратель...

И так каждый день, каждое утро.

Каждый вечер и ночь по-одинаковому.

Свободно дышал на улице, шагал из учреждения в учреждение. В этом была своя какая-то оригинальная новизна.

Около пяти недель я оставался в Лефортове и в Троицын день перешел в новое жилище—в Сокольнический исправительный дом.

Там предстояла жизнь не в одиночке, как в Лефортове, где можно было побыть наедине с самим собой, а в общей камере.

В Сокольнической тюрьме помещалось до 600 заключенных, главную массу коих представляли прошедшие через суд и имевшие, следовательно, приговор.

Основной темой их разговоров являлось «досрочное освобождение». Шел вечный, но неудачный флирт заключенных с органами, ведавшими вопросами о досрочном освобождении.

И в Сокольнической тюрьме были агенты-заключенные, но уже не один, а несколько, также ходивших в город по делам тюрьмы. Между агентами происходили поэтому вечные состязания.

«Кто завтра в город, подписана ли командировка, в каком настроении начальство, пришел ли уже «сам» (так называли начальника)?»—вот вопросы, поглощавшие внимание арестованных.

Смешно было наблюдать искренний, неподдельный интерес, который проявляли заключенные к настрое-

нию «самого». А «сам» был не чужд капризов; неглупый, энергичный—он отлично понимал психологию заключенных, легко проникал в секрет их затаенной мысли и далеко не всегда шел на встречу их, по существу, ясному желанию—в «город».

Заключенные, здесь, жаднее чем где бы то ни было, дышали воздухом свободы.

Они знали о ней больше и отсчитывали трепетно время, приближающее их к воле. Поэтому в тюрьме царили нравы города, улицы.

Было душно и тяжко в камерах среди людей, нервно-напряженных, следящих и охраняющих свою убогую радость, старающихся отравить ее другим из какого-то глупого озорства.

В камере, куда поместили меня, было 14 человек. Все тюремные чины: повар и его помощник (бывший уполномоченный главка), заведующий продовольственной частью, заведующий строительными работами в тюрьме. Пятеро работали в тюремной канцелярии, а остальные—агенты—ходили под конвоем в город: кто за топливом, кто за инструментами для мастерских тюрьмы, кто за алебастром, известью и стеклом и т. д.

Жили, ненавидя друг друга. В камере отражалась вся вражда человека к человеку, вплоть до подсиживания, кляуз и интриг.

А, между тем, трое из находившихся в камере были культурными людьми, интеллигентами. Но, видимо, такова была власть обстановки, заражавшая тоном, общим для всей тюрьмы.

Как убивали время взрослые люди в камере, когда освобождались от текущей работы? Они прежде всего совсем не радовались тому, что необходимость возвращала их по вечерам из тюремного двора в камеры. Они бесцельно по ней слонялись, придумывая, от тоски и скуки, издевательства друг над другом. С какой-то тонкой изощренностью стремились больнее ужалить, наслаждаясь смущением своих товарищей.

Иногда все заключенные камеры дружески об'единялись в издевательствах над генералом, помещавшимся на крайней койке у стены.

Это был жалкий разбитый старик, беспомощный, неспособный отвечать на насмешки; он укрывался с головой шинелью и затыкал уши.

Зато и он мстил наушничаньем в конторе.

Что можно было ему на это сказать?

Каждый мстил и защищался как умел.

Заведующий продовольственной частью, например, был болен стремлением «диктаторствовать» в камере. У него были здоровые мускулы, много энергии и самоуверенности; за ним, наконец, была давность—преимущество немаловажное—он сидел в тюрьме два года.

На воле он был каким-то чином по Всевобучу, а обвинялся в использовании служебного положения и во взятках. Разумеется, он это категорически отрицал—таков обычай тюрьмы,—так отрицали и клялись в своей правоте все, сидевшие в тюрьме. Это было характерно. Отрицали не потому, что стыдились своих преступлений, а исходя, видимо, из стремления заслужить сочувствие. Последнее было понятно, но увлече-

ния неправдой я не понимал. Было странно, когда заключенный, преступление которого было ясно и бесспорно, разыгрывал роль обиженного дитяти.

Если в тюрьме кто-либо и признавал за собою какой-либо проступок, то так уменьшал значение своей вины, что поневоле заставлял собеседника разводить руками, горестно качать головой и говорить:

— Господи, за что же вас посадили?!

Какую радость находили в этом утешении и самообольщении заключенные?

Генерал и заведующий продовольственной частью особенно изображали из себя таких страстотерпцев.

Генерал утверждал, что он никогда не был враждебен Советской власти, но кровно обижался, когда его насмешливо переспрашивали:

— А вы состояли в списке царских генералов?

— Состоял.

— Нет, это неправда, вы не состояли,—возражали ему.

А он яростно стремился доказать, что числился генералом, даже с благоговением вспоминал об этом счастливом времени в его жизни. На койке, рядом с генералом, помещался «агент» тюрьмы—юрист. Это было жалкое, подобострастное, подхалимствующее существо, стремившееся снискать себе милость сильнейших соседей. Я знал его некогда независимым, смелым и свободным. Но здесь, в заключении, он выявился иным.

Рабски боялся неудобств, тюремных стеснений и стремился создать себе что-то вроде комфорта. В тюрьме он стремился к этой иллюзии, чтобы меньше

чувствовать тяжесть решотки. Идея маленькая, но ею увлекался. Он носил глаженые воротнички, кокетливо завязанные галстуки, душился одеколоном, оберегал свой маникюр и все же казался жалким. Круг его интересов заключался в том, что сказал или подумал о нем начальник тюрьмы.

Вспоминалась Бутырская тюрьма, где, по сравнению с Сокольническим исправительным домом, царила такая железная, крепкая обстановка.

В Бутырской была иная психология, иные люди—там были следственные; в Сокольнической—осужденные. И психология была разная, словно Бутырская тюрьма была столичной, а Сокольническая в каких-то далеких, глухих Ливнах.

Самое тяжкое в заключенных-интеллигентах было именно это угодливое «чего изволите».

Ни прямоты, ни чести, ни самолюбия—и все во имя достижений весьма сомнительных, в своей об'ективной ценности—в лучшем случае, выхода, под благовидным предлогом, в город под конвоем, в худшем—относительной свободы в пределах тюремной территории.

Каждая тюрьма имела все же свои специфические особенности, определявшиеся, конечно, как традициями дома заключения, так и характером администрации.

Я помню Таганскую тюрьму, где помещались как следственные, так и срочные. Там особенно явственно можно было наблюдать разницу между интересами обеих категорий с их резко выраженными контрастами. Вторые считали себя как-бы оторванными от жизни на

«свой срок». Их покидала надежда на неожиданное и скорое освобождение. Поэтому они занимались, главным образом, арифметикой, подсчитывая отбытое заключение, исходя из предположения об амнистии, помиловании, досрочном освобождении и других неуловимых признаках.

Следственные не связывали своего будущего с тюрьмой, ибо их интересы соприкасались с внешним миром.

В Таганской тюрьме был театр, но работа в нем была монополией срочных. На спектакли могли приходить, с разрешения начальства, и следственные. Когда я попытался нарушить эту ставшую прочной традицию, собравшись выставить кандидатуру в театральные режиссеры, меня уговорили снять ее, во имя уважения к праву «срочных».

Закон гласил: «театр в тюрьме для осужденных—постоянных жильцов тюрьмы».

Срочные, несмотря на солидарность своих интересов, в той же Таганской тюрьме готовы были горло перегрызть друг другу в борьбе за право хождения в город и другие преимущества так же, как и в Сокольнической тюрьме. Тяжелы становились нравы тюремные тогда, где тюрьма превращалась в квартиру. Люди становились похожими на раз'яренных волков, яростно проклинали, глухо озлоблялись и ненавидели друг друга. Они затыкали свои уши от шума большой, настоящей жизни, шедшей стихийно за стенами, они были маленькими и ограниченными, словно жили на необитаемом острове, а не в центре большого города;

жуткой становилась жизнь тех, не потерявших еще облик человеческий, кто попадал в этот Бедлам.

Осужденные занимали в тюрьме все должности.

Так, например, воспитывали даже малолетних преступников, находившихся в тюрьме.

Что это было за воспитание?

Оно сводилось в основе к стремлению пользоваться усиленным детским пайком, дававшимся «воспитателям». Кроме того, заключенные заведывали библиотеками, захватывали все административные должности, до самой незначительной включительно, стремясь сконцентрировать влияние в руках. Они определяли темп жизни в Таганской тюрьме, и был тон этот поистине отвратительным, поистине удушливым, смрадным.

Освежали атмосферу работы. В Таганской тюрьме была своя оборудованная типография, мастерские; шли значительные строительные, ремонтные работы. Но, конечно, далеко не все заключенные могли быть использованы администрацией—для всех работ не хватало.

В 8 час. утра, с ударом гонга, выходила с оживленным шумом партия за партией «рабочих» в мастерские.

Иные работали с увлечением, утомляя себя до изнеможения, с тем, чтобы по приходе в камеру свалиться на койку и спать до следующего утра, пока вновь не разбудит гонг. На работе отдыхали от жгучих дум—уходили с головой в иллюзию или просто оставались без мыслей в голове, машинально отдавая всю энергию в механические движения.

Физические движения развивали и укрепляли организм за счет ослабления тоски.

Помню, когда вышел на свободу, и в тюрьму уже пришел через несколько дней, вслед за этим, вольным гражданином вместе с артистами государственного балета на концерт. Как-то чужд стал заключенным, наполнявшим зрительный зал. Они приходили ко мне за кулисы, жали руки, обнимали, о чем-то просили, но я был им далек, до меня не долетали их стоны и жалобы.

Хотя во всем наблюдалась видимость соблюдения принципа принудительных работ, хотя были в тюрьме столярные, кузнечные, слесарные, сапожные и др. мастерские, хотя и день был восьмичасовой с перерывом на обед, но это все было неживое, и даже на работах, исполнявшихся без увлечения, заключенные оставались самими собой.

Отрывок двадцать третий.

Вспоминаю свой процесс в Политехническом музее. Он навсегда ярким пятном останется в моей памяти.

Как можно мне его забыть, когда был он зенитом страданий в моей тюремной страде.

Как можно его оттуда вычеркнуть, когда процесс этот дал мне возможность показать судьбе, что из разряда «испытуемых жизнью» я вышел не последним.

Я не знал, чем суд для меня кончится—вернет ли меня снова в тюрьму, или даст свободу.

Я пошел на суд с каким-то тупым равнодушием, однако покинувшим меня уже в первый день процесса, ибо явился чисто спортсменский интерес к личной судьбе—родилось желание к борьбе.

«Только успех заглаживает промахи настоящих людей»,—напутствовала меня на суд одна из моих добрых знакомых. Я не мог не рассмеяться,—пожалуй, она была убеждена в моей виновности и в необходимости во чтобы то ни стало для меня уйти от кары суда; но, видимо, так думало и большинство тех, кто был в зале суда, а я радовался тому, что мне стало безразлично, что обо мне думают наполняющие зал судебных заседаний. Ведь я был чужд толпе; даже ощущаемое мной инстинктивно редкими моментами сочувствие глухой, молчаливой массы не разрушало моей холодности к «симпатиям» многочисленной, случайной публики.

Все свое внимание я фиксировал на суде. В состав его входили видные члены трибунала, а председательствовал рабочий-самородок, талант, умница, со здоровой порцией скептицизма в натуре. Он не верил ни адвокатам, ни подсудимым; в манере его вести заседание был оттенок позы; подчас он не стеснялся резко обрывать подсудимых и их защитников. Тяжка была назойливая мысль, что мне бесполезно отбиваться. Ведь все было предопределено; не верят, так не все ли равно: спорить, возражать или молчать? И все же с каким-то надрывом, но упорно и последовательно, главное лицо в процессе на скамье обвиняемых, а за ним и я отстаивали каждую мелочь из наших показаний. Не хотелось сдаваться.

Оба мы вносили в нашу защиту страстность и напряженность измученных долгим ожиданием суда заключенных.

Меня еще вдобавок возбуждала мысль, что надо до конца использовать момент отражения во-вне тех настроений, которыми скована была моя душа.

Часто я начинал свои ответные реплики оживленным, бодрым, но чувство полнейшего одиночества вместе с жуткой томительной мыслью, что мне не верят, делали меня вялым, полубольным; тогда я едва-едва находил в себе силы довести свою речь до конца, чтобы обессиленным вновь опуститься на скамью.

Процесс считался одним из самых нашумевших в республике, и поэтому был сложен. Обвинение и защита делали все для того, чтобы выбить копья друг у друга; яростно защищался Голанов, бывший некогда

талантливым адвокатом, увлекая меня своим настроением. Шестнадцать месяцев длилось следствие, а девять дней суд. Казалось моментами, что грозные тучи нависали над моей головой.

— Расстреляют, расстреляют!..—нервно твердил я сам себе.

Тянулись дни процесса.

В тюрьме считалось законом от правды отрекаться на допросах у следователей. Кто «заговаривался» в этих случаях, выдавая товарищей,—тот погибал сам, ибо выбалтывал часто на показаниях много такого, что усложняло ход следствия, затягивало «дело», вызывал ряд новых допросов. Вырастал следственный материал, а этим самым усложнялась вина подсудимого, и психологически, под тяжестью новых показаний, создавалось впечатление значительности фигуры того или иного заключенного.

Тоненькое дело—маленькая вина; толстое, об'емистое—большой процесс, большая вина, много слушателей, улик, материалов.

В тюрьме среди заключенных это положение считалось установленным и непреложным, ибо логика фактов, всегда имевшихся в следственном материале, увлекала арестованного за пределы, определившейся по началу, вины его.

Следователи прекрасно умели использовать панические настроения заключенных и, играя на психологии страха, искусно расширяли рамки признаний допрашиваемых.

Поэтому уже самый вызов на допрос вселял нездоровое беспокойство и беспричинную тоску в заключенных. У следователей возникал чисто спортсменский интерес к наиболее полному выявлению существа дела, определяющегося, чаще всего, показаниями заключенных. Вытягивались слова удлинялась лента показаний—такой бесконечной была она в моем процессе. Большинство подсудимых по моему делу были из интеллигентов и щедры были в бесполезном многословии и путаных мыслях. Они, желая остаться честными перед собой, стремились не запутывать других, но ужасный страх смерти повелевал искать опоры и защиты в ложном освещении фактов следователю. Под настойчивыми вопросами следователя и его упорным взглядом они терялись и собственную вину приписывали другим, не замечая, что выдавали этим, по существу, себя с головой. Допрашиваемые опровергали сказанное о них и, в своей защите, свои проступки приписывали клеветникам. Таким образом создавался следственный материал, подкрепленный рядом проверенных фактов. Психология заключенных в дни революции была до жути похожей на звериную. В своем стремлении спасти свою жизнь неслись по другим человеческим жизням, как дикое стадо мустангов, убегающее от догоняющего их лесного пожара.

Лгали друг на друга, стыдились посмотреть в глаза своим товарищам после допросов. Но вслед за этим снова лгали, хитрили, обманывая следователя. Возвращаясь после допроса в камеру, мучились раскаянием и терзались мыслью о необходимости исправить пока-

зания. Писали свои «отречения», мотивируя свою слабость давлением следователя. Но, за редким исключениями, они лгали в этом мотиве своей правдивости. Давила их собственная, эгоистическая маленькая трусость, за которую им бывало так мучительно стыдно.

Правда, тюрьма была тяжким, зачастую для многих непосильным испытанием, но человеческое достоинство покидало даже тех заключенных, которые имели основание в ней не задерживаться.

В нашем процессе безумный страх главного героя, жалкого Ударова, создал такую массу противоречий в следственном материале, что 16 месяцев прошли в поисках истины. Каждый день Ударов писал, дополнял свои прежние показания, опровергал старые, создавал новые версии, путал без конца себя и других, добавляя подробности и факты, которые, по проверке, оказывались мифическими и никому не нужными.

«Только бы сохранить свою жизнь—какой угодно ценой»,—думал Ударов.

Ужас потери этой жизни обуял его душонку и затемнил сознание—он потерял уже в первые дни своего ареста последние остатки мужества.

Плел кружева лжи без конца, а лента вилась, вилась 16 месяцев. Когда начался суд, на столе перед трибуналом лежало девять об'емистых, внушительных томов показаний и документов. Под тяжестью исписанных бумаг мог быть похоронен любой из нас, хотя улики растворялись среди вороха противоречивых по-

казаний. Судьям пришлось пробиваться к правде сквозь эту дремучую гущу показаний. Им надо было приглядеться к нашим физиономиям, составить себе о психологии каждого из нас ясное представление.

Ударов обозначился четко в первый же день— остальные стали выявляться по мере хода процесса и в своих последних словах. Так называемые «последние слова» были наиболее характерными для процесса; их жадно слушала любопытствующая публика. Лорнировали подсудимых дамы, в бинокли разглядывали, не скрывая своего любопытства, мужчины. Среди последних были и те, кто только незадолго до этого делил тяготы тюрьмы с нами. Они приводили в бешенство меня своим праздным интересом. Эти любопытные зрители из категории «бывших заключенных» представляли бытовой интерес. Они уносили о тюрьме только смутное воспоминание на волю, где оставались скучными, серыми.

Председатель прослушал речи защитников.

Помню свое последнее слово. Я сказал:

— В этом зале мне трудно говорить. До меня было сказано и на нашем, и на других процессах так много последних слов. Вы, граждане судьи, уже не слушаете их, ибо для вас они стали последней формальностью, мимо которой нельзя вам пройти. Но мне так тяжко думать и знать, что говорю последнее слово, которое неизбежно будет вами, может быть, свалено в кучу вместе с другими. Много думал я в бессонные ночи в тюрьме о том, что скажу я в своем последнем слове. У меня оно было уже намечено, продумано, построено.

Но сейчас говорю то, что говорится, ибо продуманное по ночам в тюрьме куда-то исчезло, бесследно испарилось из головы. А, между тем, как часто я сам приходил в восхищение от того легкого здания слов, которое являлось последней моей репликой.

«Сейчас я без сожаления расстаюсь с этими планами, рожденными в бессонные часы.

«Ведь в них была надуманность, ибо я строил в обстановке ночи, когда все благоприятствовало мысли.

«Может быть, в них было больше холодной, вычурной искусственности, а я хочу быть только искренним. Всей силой своего напряжения хочу дать вам возможность ощутить меня, заглянув ко мне внутрь.

«Устал безмерно—об этом я уже говорил, но говорю еще сейчас потому, что, несмотря на глухую атмосферу враждебности и недоверия вокруг нас, подсудимых, верю в правду. Верю крепко в то, что сказал председатель:

«В этом зале,—говорил он,—Московский Революционный Трибунал не осудил еще ни одного невиновного».

«Это так, это не может быть иначе, а раз так, и я верю в это, то значит суд уяснит себе: виновен ли я или нет?

«Но прежде о 16 месяцах заключения. Мне кажется, что суд не дошел до сознания, что значит в жизни заключенного 16 месяцев. Все подсудимые без конца, как защитный яркий лозунг, выбрасывают эти 16 месяцев тюрьмы. И суд внимает этому ужасному воплю. Ухо членов суда уже привыкло к этим 16 месяцам,

и при решении вопроса о нашем наказании ляжет ли эта гиря на чашку весов? Не знаю, не думаю.

«Ибо вы оравнодушели, как и мы. Позвольте же мне об'яснить вам, как прошли эти 16 месяцев, и как случилось то, что я не умер, не покончил самоубийством, а жив.

«В одном из перерывов, в коридоре, встретился со знакомым, с которым бодро и возбужденным голосом перебрасывался словами. Но случайно во время этой беседы, обернувшись, увидел возле себя председателя Трибунала. Кольнула мысль, что́ он обо мне думает: «На скамье подсудимых молчалив, печален, а здесь весел. Значит кривляется».

«Нет, это не так. Суд для меня праздник; я измотался в нетерпеливом ожидании вашего решения. Я только не хочу показывать людям, что ослаб. Нет, нет,—ни за что! Я притворялся в коридоре, а не здесь.

«Какой-то крупный писатель, два года проведший в тюрьме, сказал: «В темнице день без слез—не день».

«Да, это так, но это не значит, что мы плачем целыми днями, ибо нас так много, что наши слезы образовали бы реку, которая залила бы и этот зал. Нет—это значит, что каждая наша секунда полна нервного напряжения, боли и страдания. Это значит, что в результате 16-месячного сидения я потерял способность воспринимать радость и сохранил чувствительность только к горю. Для меня все стало относительным. Что в том, что с меня снят оговор и что вы меня оправдаете? Все стало безразличным, все пустым. Кто может про-

никнуть в глубину моего ушедшего и оставшегося настроения?

«Не те ли, кто собрался здесь за моей спиной и сделал себе удовольствие из нашего несчастья? Не те ли, кто здесь учится, как надо делать преступления и прятать концы в воду? Когда я вижу, как в антрактах набрасываются на пирожные в буфете, устроенном каким-то ловким человеком специально на дни процесса, мне становится ясно, что со своей болью я никому не нужен. Возвращаюсь к основному...

«Как же прошли мои 16 месяцев? Как могло случиться, что я их все же пережил, когда за стеной, шла та жизнь, которая меня так всегда волновала, так втягивала, так наполняла? Первые два месяца прошли в неопределенном предчувствии в В. Ч. К. и М. Ч. К. смерти. Нам казалось, что все скоро кончится. Меня допросили через 4 месяца. Я ждал терпеливо, начал привыкать к мысли о необходимости выдержки и терпения. На пятом месяце заболел дизентерией и проболел шестой и седьмой. На восьмой нас обещали судить, но оказалось, что дело переходит в руки к новому следователю. Снова начались допросы и вызовы, они поглотили одиннадцатый месяц. На двенадцатый—дело перешло в Трибунал, а мы изматывались, переходили от надежды к отчаянию и ждали, ждали, ждали...

«Как мы измучились, как мы устали!...

«Тринадцатый и четырнадцатый месяцы пополнили следственную массу; допросили нас всех снова.

«В который раз?

«В конце четырнадцатого судили, прервав суд на третий день после его начала до шестнадцатого, нынешнего месяца.

«И мы снова перед вами. Мы судимся.

«Так разве 16 месяцев—не крупный фактор, давящий наше сознание?

«Мне хотелось бы перейти к анализу улик, направленных против меня. Я должен доказать несколькими цитатами из показаний свидетелей обвинения, как шатко в основе их выступление.

«А главно, кто мои обвинители?

«Один из них в прошлом мой приятель, из корысти дороживший нашими отношениями, а другой—лакей душой—яркое воплощение всех возможностей, заложенных в гнусной маленькой подлой человеческой душонке.

«Это они выступили в роли палладинов, рыцарей без страха и упрека в борьбе за истину!

«Какое смешное и отвратительное зрелище! Но они жалки—не хочу о них говорить.

«Я кончаю. Мне больше не о чем говорить.

«Я устал, я ничего не хочу, кроме одного—конца этого так нелепо затянувшегося процесса.

«Как бы вы ни судили—судите. Теперь я спокоен.

«Вы скажете свое слово через несколько часов. Скажите же его скорей, разрубите эту петлю неопределенности, стягивающую наши шеи.

«Попробуйте представить себе душевное состояние человека—сейчас свободно перед вами говорящего свое «последнее слово» после того, как шестнадцать

месяцев тюремного заключения прошли в ожидании, казалось, уже предрешенной смерти.

«Отойдите хоть на некоторое время от вашего жуткого внешнего судейского формализма, не умершего и в дни революции, и взгляните на меня совсем попростому, как человек на человека.

Я был оправдан. И ровно через месяц вступил снова в полосу измытарившего меня беспокойства, когда дело наше назначено было к пересмотру, за мягкостью приговоров, в Верховном Трибунале.

Каждый день я мог ожидать нового ареста. Так тянулось три долгих месяца, пока выяснилось, что оправданных в Трибунале к делу вновь не привлекают в Верхнем Трибунале. А из тюрьмы мне уже писали товарищи, что приготовят для меня, в случае ареста, старую мою «квартиру», камеру. В течение трех месяцев, полных жгучей неопределенности, лихорадочно работал мозг, и без конца сжималось сердце. Неужели еще не конец? Неужели снова тюрьма, передачи, свидания, письма, суд, допросы, последние слова? Но судьба на этот раз оказалась милостивой—она нашла, что в самом деле «слишком», и дала мне передышку, к сожалению, только передышку.

Если бы уходил на свободу из тюрьмы, а не из зала суда, откуда был немедленно после оглашения приговора, распоряжением председателя Трибунала, отпущен, меня проводили бы оставшиеся товарищи пением вошедшей прочно в репертуар тюрьмы песенки:

«Чем крепче нервы, тем ближе срок».

Смешно, но хотел еще после суда и своего оправдания вернуться в тюрьму, где прошел такой важный и значительный период моей жизни, желал страстно процедуры проводов, в которой так часто принимал участие и я, когда уходили на волю другие. Тогда я, тоскуя, завидовал уходящим и сладко мечтал о дне, когда придет и мой черед. Мы в тюрьме провожали освобождавшихся с помпой, а встречали приходящих без радости. Напр., когда уходили на волю партийцы,— мужской и женский одиночные корпуса вместе с населением 12-го коридора гурьбой вываливались на двор и с пением революционных песен провожали своих единомышленников до железных ворот тюрьмы. Уходил из тюрьмы на свободу коммунист—дружным пением Интернационала отзывался на уход товарища 13-ый коридор после того, как на-спех созывались жители коридора и руководитель культпросвета обращался к «вольному» с приветственным словом. Одним словом церемония проводов ничем не отличалась от соответствующего события на воле.

Но я лишился этой своеобразной радости крепкого искреннего пожатия руки оставшихся в тюрьме перед уходом на волю.

В первые несколько дней моих на свободе я испытывал физическое ощущение какой-то неудовлетворенности. Странно, но правдиво.

«Надо было уйти на свободу, пройдя через чествование, ибо я, пробыв 16 месяцев в тюрьме, был одним из творцов ее традиций; они должны были распространяться и на меня».

Жалел об этом долго—совсем не шутя.

Отрывок двадцать четвертый.

А через год после процесса я записывал на клочке бумажки:

«У меня сегодня годовщина освобождения из тюрьмы после полуторагодичного сидения в тюрьмах и чрезвычайных следственных комиссиях. От сознания, что свободен, на душе празднично, легко и бодро. Еще накануне много думал о том, что осталось позади. Думается о том же и сегодня. Тяжко вспоминать о днях суда. Они закончились моим полным оправданием. Вспоминаю, как не было у меня бурной радости от того, что сказали «невиновен», сняв этим самым с меня всю тяжесть обвинения.

«Разве легко чувствовать всегда возможность нападения на тебя людей, главным козырем которых был лозунг:

«Он судился по громкому процессу. Ату его!».

«Я был на первых порах равнодушен к этим выпадам. Что мог я сделать? Доказывать и опровергать? Это было смешно, бесцельно. Ведь истина почти всегда однобока, а в одном случае логика фактов, пусть опровергнутых, бывших в основе обвинения, давала лицемерам преимущества, которых не было у меня.

«Я был жив и даже подавал надежды стремительно уходить вверх.

«В этом была моя утеха.

«Я оказался сильным и не был раздавлен.

Помню, как с отчаянием человека, потерявшего все, моментами защищался на суде. Стремился вырвать себе свободу, хотя не верил в возможность своего оправдания. Я оживлялся, но временами, встречаясь глазами с женой, читал в них страх за себя, но мне уже было все равно. Безразлично как-то принимал еду из рук, механически пережевывал пищу и спешил, после звонка, призывавшего снова в зал, из коридоров, на свое место. Собой все же владел хорошо, вплоть до того, что знакомым вежливо и даже приветливо отвечал на поклоны. Только за три дня до того, как суд вынес свой приговор, Ударов, запутавший меня своими лживыми показаниями, сознался во лжи. Я понял, что останусь в живых, но принял это без энтузиазма и без восторга, был единственным среди обвиняемых, не переставшим твердить, что большинство судящихся по нашему делу будет расстреляно. Мне казался смешным оптимизм моих товарищей, упорно фантазировавших на тему о благополучном исходе процесса. Но я считал ненужным разбивать их иллюзии; они казались мне детьми, забавлявшимися своими грезами о скорой свободе; им не мешал—но уходил от их назойливых вопросов на тему о приговоре. Ударов, в отчаянной трусости, из-за стремления спасти свою гнусную душонку, втянувший меня, как участника, в процесс, был жалким трусом. Ему отказаться от пер-

воначальных показаний значило—ухудшить свое положение, выявив свою ложь. Мог ли это сделать Ударов? Ведь он так трепетал перед смертью.

Достаточно было наблюдать за Ударовым несколько дней, чтобы ощутить самому что-то вроде презрения к жизни и даже к себе за любовь к ней. Как можно было судорожно хвататься за нее? Как можно было так без конца изводить всех одним жадным вопросом о своей судьбе, как это делал Ударов? Хотелось ему отдать свою и чужие жизни, чтобы только не видеть, испытывая чувство гадливости, как извивается Ударов в поисках случайных деталей, его оправдывавших и укреплявших веру в его спасение.

Я содрогался от ужаса, когда представлял себя охваченным такой жуткой паникой перед возможностью потерять жизнь, как Ударов. Все 16 месяцев своего заключения, и особенно первые четыре, он бредил одним вопросом,—буквально хватая всех вновь приходивших и уходивших из тюрьмы за фалды, он жадно допытывался:

— Расстреляют меня или нет?—расстреляют или нет?

Казалось, что губы его, жевавшие пищу, одновременно шептали «расстреляют или нет?». Во сне он кошмарил и выкрикивал в диком припадке: «расстреляют или нет?». На суде, упорно глядя в лицо председателя Трибунала, думал... думал...—«расстреляют или нет?». Этим вопросом было проникнуто каждое его движение, каждый жест.

Так часто, так упорно, с какой-то жесткой ненавистью смотрел я на него, когда он говорил о простом житейском (правда, это бывало редко), и думал:

«Как смеешь ты говорить о другом? Только о смерти. Еще и еще спрашивай, будешь ли ты жить или умрешь».

Я сделал себе из этого странное развлечение. Задавал ему наводящие вопросы и издевался над ним, когда часто срывались у Ударова обращенные в пространство настойчивые вопросы—«расстреляют или нет?».

Если бы кто-нибудь мог ему ответить на этот вопрос точно, если бы даже кто-нибудь мог гарантировать ему жизнь, не поверил бы в это Ударов, ибо огромный страх обуял все его существо... Для него не существовала истина, для него не существовал долг; наконец, все товарищи по делу были для него безразличны со своей судьбой. Он уже перешагнул через всех, кто сидел рядом с ним на скамьях, в стремлении своем спасти свою жизнь.

В этом процессе его презирали; был он оплеван, забит, запуган, но безумная жажда к жизни придавала ему какую-то изумительную наглость. Он оскаливал зубы и плевал на все, на всех тех, кто хотел внедрить в него сознание его низости.

Меня отпустили тотчас же после приговора. Медленно спускался с лестницы Политехнического музея. Знакомые и незнакомые сочувственно глядели на меня.

Сочувствие... что мне было до этого? Сердечно со мной прощались ушедшие в тюрьму, обнимая и целуя. Но было холодно, пусто на душе, я не успел ничего ни понять, ни осознать ничего,—мешала толпа, стесняли люди, и хотелось одиночества.

За руку взяла меня жена и повела, как ребенка, домой. Небо было усыпано звездами в этот прекрасный, тихий вечер. Назойливо болтали прохожие, подходили и жали руки, а я молча шел по улице, направляясь к себе на квартиру, и удивлялся, что после 16-ти месяцев наступил момент, когда нет за спиной конвоя с винтовкой.

Думал о заключенных, которых оставил в тюрьме... Было больно...

Думал о том, как загудят коридоры и камеры, когда узнают о моем оправдании. Позднее узнал, что вся тюрьма лихорадочно трепетала и волновалась в день вынесения приговора, строя заранее всевозможные предположения и догадки о нашей судьбе. Приговор суда не совпал с тем, который вынесла обвинявшимся по нашему делу тюрьма.

Глас «народа» разошелся с «гласом» суда.

Отрывок двадцать пятый.

Первое мая. Яркое, ласковое солнце заливало улицы, и хмуро улыбались зияющие развалины домов, пестро переливалась шумная толпа, торжественно звучала военная музыка, а ей в такт шагали отчетливо и уверенно красноармейцы. Зелень на автомобилях, грузовиках, красные флаги. Рабочие шли одни за другими густыми рядами без конца, без перерывов. Сменяющиеся впечатления, много красок... И дети с криком «ура» проносились быстрым темпом по шумящим улицам, наполняя звонкими возгласами восторга ясный, весенний, готовый вот-вот брызнуть своей радостью, воздух.

Я вышел на Тверскую из переулка, где жил, и почувствовал, что мне чудесно и весело. Вобрал в себя все настроения улицы,—и хорошо стало от сознания, что живу в России, в стране, где возможны такие праздники, где солнце выступает 1-го мая в союзе с рабочими, где красное победно вскидывается к небу, словно грозя и там зажечь пожар, где заклятые враги революционного порыва, помимо своей воли, толчком опрокидываются и невольно вливаются в круг радости жизнью, расточаемой так широко, захлестывающей волной в день первого мая. Пролетарский праздник,—так значительно могут иногда звучать эти два слова.

И как странно, что 1-го мая я—скептик, не верящий в возможность «пролетарских» праздников, в дни, когда, мне казалось, на душе у всех усталость и злоба, когда все в прострации,—ощутил этот день не только как один из семи дней в неделю, а как большой день России.

В детстве я испытывал сладкий восторг, когда бегал за маршировавшими при оркестре духовой музыки солдатами. Но тогда я был несмысленышем.—А теперь чувствовал бешеную радость, наблюдая проходивших стройными рядами красноармейцев. Ухо жадно ловило звуки музыки... И я позавидовал тем, кто может сказать, что ими положен первый камень в стране, где стали возможными праздники, собирающие на улицах многие сотни тысяч населения, мощные и грандиозные.

И болело физической болью сердце за то, что оторвался от этого праздника; не было у меня счастливого ощущения виновности в этом деле. Первое мая—праздник в Республике—день отдыха и, вместе с тем, день яркого символа грядущей работы по строительству свободной страны.

Можно ли первого мая не ощутить боли—глубокой, подлинной—тем, кто вне рядов строющих—за то, что не с ними?

Проклятие судьбе, вышвыривающей тебя из революционного авангарда.

Первого мая меня посетило такое радостное чувство, какого не было со мной долгие годы. Я словно осветился и преобразился за счет массового под'ема.

Попал в такт музыке и испытал буйную радость в своем сердце, несшемся к тысячам сердец, всколыхнувшихся огнем порыва и солнцем вдохновения... Были одинаково ярки кумач на знаменах и порыв в сердцах. Ритм неба и земли. Ибо не было страшным больше ничего даже для меня, не приемлющего так остро озарение рабочего класса. Но в сердце моем жили струны созвучные, освобождение от цепей, сковывающих мой творческий порыв, с зовом к воле и к разрушению цепей тех, кто твердо шел под красными знаменами...

И, бессознательно или сознательно, я проникся зовом солнца в высь, в голубое поднебесье, к звездам.

Меня окликнули и остановили знакомые: Взволнованный, почти захлебываясь от радости, нервничая, быстро сообщил им часть своих мыслей о первом мая, о стихийном порыве человека к небу во имя утверждения свободы. Хотел сказать еще больше, но сдержал себя—боялся, что буду заподозрен в игре, в стремлении неискренно приобщиться к чужому празднику. Но меня холодно и жестко убил репликой: «Ну, еще бы скучно!—сказали мне с оттенком скептицизма:—хорошо организовали, не мало положили сил, чтобы вышло весело»... И тут же рассказали какой-то пошлый анекдот—что-то о дороговизне. Ушли оба, оставив меня одного на улице...

Мне стало смешно. Рассказал еще другим о своих впечатлениях от ароматного дня, умолчав о встрече с теми, кто досадно оскорбил мою радость. Меня выслушали, не поняли и ничего не ответили. Крепко сидят

в головах у людей мелочи, словно символ подхлестывающей жизни, роняющей в грязь житейского, небольшого наши большие дни.

Я не оскорбился ни за себя, ни за первое мая; я даже не удивился! Значит ли это, что день 1-го мая не величаво-прекрасен? Значит ли это, что поблекли пышные, богатые одежды, в которые нарядила природа этот день? Нет, он остался глубоким, большим, как ни малы и ни ничтожны обыватели.

Я пережил много встрясок, но знал, что не будь их, не будь бурь в моей жизни,—не было бы того чудесного ощущения, что было у меня в день 1-го мая. Ну, а мелочи жизни—пусть! Это грубо, но ведь это так и должно было быть... Первое мая—и грубые анекдоты. Огромный день—и крошечные людишки. Да и чего все это, в конце концов, стоило перед гулом рабочей массы, выбросившей себя радостно на улицу? Это они рождали стремление прорвать круг в моем каждом дне, где сливались в одно большое и маленькое, где стремился я в своих мечтаниях найти наиболее слабую сторону цепи, чтобы прорвать ее и вырваться наружу из заколдованного жизненными противоречиями круга.

Много ли в эпохе таких первых дней мая?.. Если бы их было больше! Я тогда чувствовал бы себя сильнее за счет чужих праздников... В эпохе больше дней с грошовыми анекдотами... И топчутся цветы души...

Смертельно усталым и одиноким вышел я из тюрьмы и без веры, без энтузиазма вошел в жизнь... Из одиночки—на шумную улицу. Но она меня не по-

разила, не удивила. Я знал людскую жизнь, лица, платья, знал даже мысли, спрятанные в глухих коробках черепов... Вышел и—неуверенно пошел, как слепой, ощупывая каждый камешек, подкатывавшийся под ноги... Все дышало шумом и раскаленным зноем... Я не знал, что́ буду делать. Знал, что в этом палящем зное растворяется живое, в зное лихорадочного, житейского и простого,—без единого освежающего ветерка.

А вот первое мая было для меня, как трубный глас. Эти чувства зависти и восторга были так новы, неожиданны... И я знал, что буду жить, что буду биться, бороться, что раз сердце мое победно открывается навстречу мелодии первого мая,—значит, могу, должен жить, значит, таю в своей душе источник веры и жажды к жизни.

Прошел только год, как вышел из тюрьмы. Символы маленького не убивали во мне веры.

А каждый день упорно подчеркивал мне, что опутан бываешь так часто житейскими мелочами.

Первое мая останется огромным днем.

Первое мая было одним из самых ярких, крупных впечатлений после выхода из тюрьмы на волю.

Отрывок двадцать шестой.

Меня часто посещает мудрость, глубинное понимание вещей и людей, отгадывание содержания завтрашнего дня и четкая впечатлительность от явлений жизни. Бывает, что возбуждаюсь изредка огромной проникновенной радостью, но все-таки и тогда я во всем сомневаюсь, склонен никому не верить. А между тем, так стремительно хочется зарыться глубокой верой в людское, в вечное, в революцию, в любовь, в женщину.

Я тороплюсь жить; все кажется, что смерть прервет мое вечное горение и не даст возможности всего, что хочется, сделать.

Я не страшился жизни, но всегда боялся смерти, обрывающей нить наших гордых планов и стройную систему мыслей. Можно ведь примириться с необходимостью лечь в сырую землю трупом только тогда, когда заканчиваешь круг своих предначертаний. Тогда умереть не страшно после достигнутых вершин, откуда смотришь на равнины, где движется человечество. Еще возможно примирение со смертью после краха всех дерзаний и бесплодной, но страшной и напря-

женной борьбы. Физически живешь, но уже испытываешь беспредельную усталость, ибо иссякают источники энергии, а найти в себе силы и волю к той жизни, которую ведут миллионы,—нельзя. Руки опускаются, жуткими клещами сжимает мысль о необходимости самого страшного компромисса—отказа от всех позиций человека, проигранных в борьбе. Тогда хочешь смерти, если желаешь остаться честным перед самим собой до конца, ибо сознавать, что жизнь прекрасна,—а ведь это так, несмотря на то, что ее густо заливают грязью,—сознавать, что человек в ней могущественен, если живет в нем творческая воля, и ее—этот подлинный дар богов—разменять на мелкую монету—да разве стоит после этого продолжать жизнь, влачить в ней жалкое существование? Тогда встречаешь смерть равнодушной усмешкой старого знакомого, приготовивши все к ее приходу.

Но как страшна смерть для тех, кто далеко раскинул сеть своих дерзаний и хотений, для кого нет препятствий, ибо могуча его воля к победе, для того, кто знает твердо, что не для романтизма, нытья и стонов рожден он на свет божий, что алой кровью, струящейся бурным потоком из сердца, окрашена будет его жизнь!

В каких муках погибают такие люди! Как жутко в этих случаях говорить о безвременной смерти. Все равно, как если бы вас с огромного корабля, вот-вот отправляющегося в дальнее плавание в неведомые страны, в последнюю секунду, перед отправлением, снесло каким-то неведомым шквалом. Для борющегося, для того, кто в разгаре борьбы,—трудно примириться со

смертью. Трудно жить со страхом в душе, счастливее—без понимания смерти, без тревожных мыслей о неожиданном конце.

Как мечтал и я освободиться от ощущений, рожденных предчувствием смерти, рост которых подчас принимал характер бешено несущегося на меня и грозящего смести вихря! Как часто начинал я лихорадочно спешить, когда овладевал мной болезненный бред о смерти,—ведь надо было успеть все сделать до ее прихода!

А любовь—не сильнее ли смерти?

Пусть верно, что любовь примиряет со смертью—хотя для нашего уха в дни революции странно звучат эти слова о любви.

Любовь, любовь...

Она велика во все эпохи, а в революцию крепкую трещину дала мечта о любви яркой, почти недостижимой.

Отчего?

Оттого, что валы революции несут на своих гребнях, рядом с мутью, большей важности самодовлеющие ценности, значительнее, чем любовь.

Я оглядываюсь назад, на тюрьму свою, где изучал я революцию на ее отрицательных явлениях.

Разве в ней, в этой тюрьме, не со всей пылкостью романтика средневековья унесся я в мечту о Елене? разве в этом не видел какую-то большую для себя цель?

И разве действительность настоящего дня не отшвырнула меня, в полете моей творческой фантазии о любви, назад, дав, к счастью, разочарование незначительное, потому что ему на смену пришли жадно мною поглощавшиеся настроения от революции?

Что ценнее было в этой же тюрьме? Наблюдавшийся мной распад семьи, нравов и устоев, ставший характерным бытовым явлением в жизни заключенных, или, наоборот, цепляние взрослых людей изо всех сил за видимость любви и счастья в каменном мешке, за сохранение иллюзий о близких на воле. С этой волей тюрьма была связана тысячами нитей, как, наоборот, близкие заключенных, томившихся в тюрьме, не теряли органической связи с тюрьмой. Инертные обыватели, как масса, вернее, часть ее, которая заинтересована была тюрьмой, вовлекались незаметно для себя в круг политических интересов в стране, напряженно следя за тем или иным изменением во внутренней или внешней политике государства,—ведь всякое облегчение несло радость и перспективу заключенным. Пусть это смешно, но в орбиту внимания заключенных разве не входила, например, забастовка углекопов в Англии? За ней ведь должна была грянуть забастовка и в рурском и силезском угольных бассейнах—забастовка в международном масштабе. Обыватель делался специфическим политиком из-за тюрьмы, забастовка должна была привести к победе пролетариата над капиталом, а для страны, в которой на троне революция, в Российской Республике—это огромная радость. Отсюда вывод — будет радость и для заключенных.

Эта «политика» была, как будто, тоже следствием «любви».

Тюрьма была полна, и не одна Бутырская, но и другие.

В революцию мы столкнулись с любопытным фактом массового наполнения тюрем, через которые, в конечном итоге, легко перекатывались сотни тысяч людей. Шли, что называется, нестройными рядами, нехотя, по «мобилизации» на выучку к Советской власти.

«Выучивались» — выходили на волю мудрее, спокойнее, гражданственнее, несмотря на то, что мудрость зачастую покупалась ценой потери семьи, любимой.

Революция растоптала своим тяжелым сапогом пролетария цветы любви. Она оказалась ненужной—эта сентиментальная водичка Дон-Кихота.

Революция столкнула меня с Еленой в тюрьме и разобщила с ней на воле.

Революция огромна, ей нет дела до счастья или несчастья живущих в ее эпоху. Она ломает старые формы жизни, рождая новые, неожиданные положения в дни революционных сдвигов и встрясок.

Разве не та же революция швырнула меня в тюрьму, столкнув на шестнадцать месяцев лицом к лицу со смертью? В тюрьме я ощутил свой разрыв с целым рядом непобедимых фетишей сердца, калечивших мою душу и связывавших мне руки в борьбе с жизнью. Я освободился там от власти догматов быта. Перед лицом этих фетишей я опускался, подавленный, на колени и им готов был принести в жертву и свое будущее, и грядущую борьбу, и желанную победу.

Революция, хоть и поздно, но все же вернула мне свободу.

Я вырос и закалился. Нужно двигаться дальше. Так стремительно хочется всего себя собрать; крепко-на-крепко зашагать по своей дороге.

Жизнь беспредельна, прекрасна и так манит своей ласковой ширью в наши дни—дни революции.